

БОЛОТО

Выбравшись из мрачных, сырых поутру лесных дебрей, где они проблуждали половину ночи, Гусаков облегченно вздохнул: лес кончился, перед ними раскинулось поле. Над подернутой утренней дымкой стеной соседнего леса поднимался ярко-красный диск летнего солнца. Лучей от него еще не было в чистом, погожем, широко залитом багрянцем небе, краснота которого, однако, быстро тускнела, уступая натиску света и голубизны. В поле становилось светлее, стало видно, как полосы ржи чередуются с разными по ширине участками ячменя, пшеницы и картофеля, — как когда-то в доколхозной Западной Белоруссии, где больше года служил Гусаков. Но тут не Западная — тут должна быть Восточная, и эти нивы-полоски давно перепаханы тракторами, а земля обобщена в колхозы. Второй раз за минувшую ночь Гусакова охватила тревога: куда же они угодили? Первый раз встревожился, когда на огромном скошенном лугу, где они приземлились, никто их не встретил, никакого партизанского дозора там не было. Правда, не было и немецкой засады. В глухой темноте ночи они собрали свои поддуваемые ветром парашюты, потом изрядно провозились в болоте, пока затопили их в камышовых зарослях. Он набрал полные сапоги воды, а старшина Огрызков по пояс угодил в трясины. Впрочем, все это мелочи, день обещал быть погожим — высохнут. Хуже, что ночью невозможно сориентироваться, определить, где они очутились. Долго задерживаться на лугу было опасно, и они наугад подались по перелескам на запад. Потом вышли на полевую дорожку, приведшую в большой смешанный лес, из которого к рассвету выбрались на это холмистое поле.

Подождав, пока сзади подтянутся спутники, Гусаков медленно пошел по меже среди ржи, звучно приминая намочшими сапогами васильки и ромашки. То и дело оглядываясь по сторонам, он старался вовремя заметить какую-нибудь неожиданность. Наибольшую неожиданность, конечно, следовало ожидать от людей. Люди могли быть разные — партизаны, подпольщики, но, наверное, немало и предателей, полицаев, встреча с которыми не обещала ничего хорошего советскому командиру. Ночью все было проще, но как будет днем? Может, лучше пересидеть где-нибудь, сориентироваться и решить, куда двигаться дальше. Потому что стало очевидно: они оказались не там, где должны были оказаться. Но кто в том виноват? Конечно, виноваты летуны, как их иногда называли, им лишь бы сбросить, а там как хотите — хоть в плен к оккупантам. Они в своем штабе доложат, что задание выполнено, готовы награды. Кто и как их проверит?

В поле пошли друг за другом — на дистанции безопасности, как и полагалось согласно партизанской инструкции, которую три дня перед вылетом изучал Гусаков. В инструкции было изложено все: как сориентироваться в лесу по пню спиленного дерева, как при сырых спичках разжечь костер, как правильно заложить толовую шашку под рельсы и много чего другого — полезного и правильного. Но ничего не было сказано, что делать, если тебя не встретили там, где должны встретить. Или как отыскать

в лесных дебрях нужную тебе базу, особенно если она засекречена? Обычно говорят: иди по компасу. Но чем может помочь компас, если неизвестно, где ты очутился после суматошной ночи? Остается разве что завернуть в ближайшую деревню и спросить у какой-нибудь тетки, где находится партизанская база. Вот положение! И это в первые сутки после приземления. Рожь кончалась, в конце нивы приветливо темнела крохотная березовая рощица, к которой и свернул Гусаков. Пожалуй, действительно, следовало остановиться, оглядеться и решить, что делать дальше.

Под березками лежала густая, росистая с ночи тень, место оказалось вполне укромное от постороннего глаза, хотя поодаль из-за ржи виднелись верхушки каких-то высоких деревьев — похоже, там была деревня. Неожиданная близость жилья, конечно, не могла не беспокоить Гусакова, который тем не менее устало опустился на мелкую в тени траву. Вскоре к нему подошел старшина Огрызков, статный крутоплечий молодой человек в юфтовых командирских сапогах. Ни о чем не спрашивая, скинул с плеча свой ППШ и, не снимая лямки тяжело нагруженного вещмешка, откинулся на траву. Молча отдыхая, они дожидались третьего из их группы — фельдшера Тумаша.

— Что? — хриловатым голосом произнес тот, подходя к березкам. — Перекур?

— А ты куришь? — переспросил его Огрызков. Познакомились они накануне вылета и теперь с понятным интересом присматривались друг к другу.

— Я-то не курю, — сказал Тумаш. — А вы курите?

— И мы не курим, — отозвался Огрызков. — Курить — здоровью вредить.

— Вот именно... Здоровье и партизану не помешает.

С виду это был обычный солдатский треп, беззаботная болтовня подчиненных, ничем конкретно не обеспокоенных. Вольготно вытянувшись на траве, они всем своим видом показывали, что всецело полагаются на него, потому что Гусаков — командир и должен обо всем позаботиться. Но он здесь мало что мог, не мог даже определить место своего нахождения. Расстегнув кирзовую полевую сумку, вынул из нее новый, еще не помятый лист карты, развернул его на траве.

— Ну что там? — небрежно спросил Огрызков. — Далеко еще топать?

— Сперва надо определиться, — ответил Гусаков. — Это как минимум.

— А максимум?

— А максимум — тот же минимум, — не вдаваясь в подробности, объяснил командир

— Да-а... Раздолбаи летуны...

Наверно, раздолбаи, старшина прав — об этом командир думал весь остаток прошедшей ночи. Летчики их подвели. Потому что невозможно себе представить, что обманули партизаны, не встретив их в установленном месте. Такого не могло случиться... Хотя, пожалуй, могло, вдруг подумал Гусаков, на войне случается разное, она полна самых невероятных случаев. Работая в штабе, он уже был наслышан о замечательных проделках как летчиков, так и партизан. Но и Огрызков должен был об этом кое-что знать. Хотя старшина за

линию фронта отправлялся впервые, но служил в диверсионно-разведывательном отделе, где чему-то, наверное, учили. Другое дело фельдшер Тумаш.

— Доктор, ну как прыгнул? — словно уловив мысль командира, обратился к фельдшеру старшина.

— Да прыгнул! — нехотя ответил Тумаш. — Хорошо, что ночью, — ни черта не видать. А днем все могло быть.

— Потому и сбрасывают ночью. Чтоб не увидел, как грохнешься.

Они переговаривались вроде беззаботно, хотя лица обоих были заметно напряжены, оба украдкой поглядывали на командира — ждали, что скажет он. Несколько минут Гусаков изучал карту, и его беспокойство усиливалось — ни одного знакомого ориентира на карте не было. Ни луга, куда они приземлились, ни леса, который перешли, ни дороги, ни поля. Явно не тот лист карты. Но попасть им следовало именно в те, нанесенные на карту места. В том-то и состояла незадача.

— Старшина, — со сдержанной решимостью произнес Гусаков. — Пойдете в деревню.

— Это куда?

Не стронувшись с места, на котором он лежал, Огрызков насторожился.

— Вон за полем. Узнать, как называется.

Старшина приподнимался устало и неохотно. Сидя, вдел руки в лямки вещевого мешка, потом встал на одно колено, затем на другое.

— Вещмешок оставь, — сказал командир. — Тумаш возьмет.

Сбросив с плеч тяжелый, набитый толлом вещевой мешок, с автоматом в одной руке старшина ленивой походкой пошел по меже вдоль ржаной нивы. Из-под нависших ветвей Гусаков проследил, пока тот не скрылся за рожью.

— Да-а, — неопределенно произнес Тумаш. — Сварил кашу. Как теперь быть?

В вопросе фельдшера послышался тайный упрек ему, командиру, словно он был виновником происшедшего. И командир не ответил. Своей вины в их неудаче он не чувствовал, а обсуждать чужую вину ни с кем не хотел. Тем более с подчиненным или посторонним, каким, по существу, являлся для него этот фельдшер. Впрочем, о том же намекали и в особом отделе, где перед вылетом он проходил инструктаж и где оставил (уже не помнил, какую по счету) подписку о неразглашении. Похоже, спутников для него подобрали случайно, без должной подготовки к опасному заданию. Воспользовавшись его командировкой, вызвали тех, кого понадобилось отправить к партизанам. Хотя кто думал, что все так получится, что их сбросят не туда, куда следует, и их никто не встретит. Тем более — с его, в общем, не тяжелым, но весьма важным и секретным грузом.

— Ты где воевал? — спросил Гусаков, внимательно взглянув на сморщенное и багровое, видно недавно обожженное лицо Тумаша.

— В танковых войсках.

— Танкист, значит?

— Фельдшером был.

— Теперь партизаном будешь. Тоже неплохо, — скупой улыбнулся командир.

— На войне все неплохо, — просто ответил Тумаш. Его неприятное, безбровое лицо оставалось невозмутимо серьезным.

Гусаков подумал, что надо бы фельдшера, а не старшину послать в деревню, потому что старшина хотя и назвался разведчиком, но в разведку пошел, пожалуй, впервые. Впрочем, в их положении назваться можно было кем угодно — документы и погоны они оставили в штабе, а с виду были все одинаковые...

Сторожко озираясь по сторонам, Огрызков вышел из ржи и, присев, затаился под грушей.

Низкорослая молодая грушка вольготно раскошествовала на солнечном приволье, колючее ее сучье низко свисало к самой земле. Впереди за картофельными огородами раскинулась лесная деревушка — гряды, сарайчики, хаты под соломенными стрехами, за ними несколько старых деревьев. Из закопченной трубы крайней хаты вился слабый дымок — наверно, готовился завтрак. За изгородью ходила тонкая, с виду не старая еще женщина, что-то высматривала на грядках, иногда наклонялась, что-то щипала. Чуть в стороне возле кустов паслась привязанная на веревке лошадь; то и дело помахивая хвостом, отгоняла мошкарку.

Огрызков не спешил, улегшись под грушей, дожидался, когда женщина подойдет ближе. Солнце тем временем изрядно поднялось в небе и согревало плечи и мокрый зад; старшина приятно подсыхал после ночного купания. В общем, он тоже досадовал из-за неудачного начала и думал, как бы все последующее не оказалось и того хуже. Главное — у них не было связи. А он уже слышал от своего недавнего начальника-генерала, что без связи в тылу врага делать нечего, можно запросто отдать жизнь за родину. Огрызкову отдавать свою жизнь ни за что не хотелось, он был молод и хотел жить.

Еще он слышал, что в их разведывательно-диверсионном деле многое зависит от тех, кто с тобой рядом. В этом смысле состав их группы ему не очень нравился, если не сказать, что вовсе не нравился. Не говоря уже об обгоревшем фельдшере, который просто — сбоку припеку. Этому, пожалуй, лишь бы дойти к партизанам, где, наверно, будет спокойнее, чем на передовой. А не удастся к партизанам, пристанет к землякам-полицаям. Теперь и тем и другим нужны медики, говорят, раненых да трипперников у всех хватает. Огрызкову не понравился и командир, эта штабная крыса, который стремится командовать, подчинить их себе, но делает это без необходимой власти и твердости. Да и откуда возьмется твердость у человека, который потерял ориентировку и не знает, куда податься? За таким командиром нужен присмотр. Перед отлетом в особом отделе ему так и сказали: за командира отвечаешь головой. Нельзя допустить, чтобы в случае чего высокие правительственные награды попали в руки врага. Если такая опасность возникнет, знаешь, что надо сделать? Он догадывался, но сделал вид, будто хорошо о том знает и нет нужды в объяснениях.

Наверно, немало времени он пролежал под грушей, а тетка все не подходила к изгороди, ковырялась на середине картофлянища. Потеряв терпение, Огрызков поднялся и, прикрыв за бедром автомат, двинулся к огородам.

— Можно вас на минутку?

Испуганно ойкнув, женщина со всех ног бросилась к хате, и Огрызков с досады выругался. Оставаться тут было небезопасно: черт знает, что могла выкинуть эта женщина. Вполне возможно, что в ближней избе живет полицай или староста. Прикрывая собой автомат, он тихонько пошел вдоль изгороди, постепенно забирая в сторону, ближе к полю. Хорошо или нет, но на огородах и возле хат никого не было, никто его тут не увидел. Держась поодаль, Огрызков направился в другой конец деревни.

На пути его оказался небольшой округлый пруд с обтоптанными скотом берегами, похоже, здесь располагался выгон, во всяком случае засеянное рожью поле поблизости оканчивалось. По ту сторону обросшего ольхой овражка паслось небольшое стадо — несколько разномастных коров шустро сновали по сенокосу, сзади за ними двигалась женщина с прутом в руках. Издали были слышны ее сердитые окрики на коров, которые, похоже, настырно стремились к посевам. Наверно, стоило туда подойти, подумал старшина, меняя направление — от деревни в поле.

Для того чтобы приблизиться к стаду, пришлось перелезть овражек, высунувшись из которого, Огрызков неожиданно близко увидел пастуха. Это был парнишка-подросток в длинноватой, выпущенной поверх штанов рубашке, низко надвинутой большой, наверно, отцовской кепке. Стоя на краю ржи, он задумчиво стегал по траве коротеньким пастушьим кнутом.

— Привет, парень! — приветствовал его Огрызков. — Не пугайся, я — партизан! Тебя как звать?

— Костя, — растерянно произнес подросток.

Разбуженный матерью, Костя в то утро поднялся рано, — подошла очередь на пастьбу коров. Правда, проснулся не сразу, мать трижды окликала его из ворот повети, где он спал на привезенной вчера копне сена. Когда встал, коров уже выгоняли, а их Красоля подоенная стояла во дворе, допивала из ведра воду. Костя достал из-под стрехи ременную пужку и, как был босой, в одной рубашке погнал корову на выгон.

Очередь ему сегодня выпала с бабой Августой, старой, но еще подвижной женщиной, которая громко бранила непослушных коров и своего подпаса. Подпасок у бабы Августы, как всегда, был на побегушках. Почему медлишь, не бежишь, молодой еще, бегать надо пошибче! Не любил Костя пасти коров с бабой Августой, но так получалось, что именно с ней чаще всего и выпадало.

Хуже всего было пасти возле ржи, куда через обмежек все время норовили забраться коровы. Тут Костя немного побегал за утро, пока оголодавшие за ночь коровы подкормились, стали спокойнее, и он наконец отдышался возле житней межи.

Костя пас коров, бегал за ними, стегая по костистым задам коротеньким кнутом, но мысли его были далеко от этих коров и этого поля. Больше всего на свете Костя любил читать книжки — детские, приключенческие или не очень ему интересные из классики, — неважно какие, лишь бы читать. До войны перечитал все, что было в двух шкафах школьной библиотеки. Но теперь библиотеки не стало, как не стало и самой школы, сгоревшей в первую военную осень. Вторую зиму Костя не учился, работал по дому и хозяйству. Кроме него да матери, работников у них не было. Витька еще малой, а отец... Отца как мобилизовали зимой в поход за оружием, так и пропал. Может,

остался на фронте и теперь воюет в Красной армии, а может, погиб где-нибудь на пути к фронту. Сосед Карлюкевич притащился весной с одной рукой, другую держа на перевязи, рассказывал, что в Витебских воротах немцы устроили им западню и били из пулеметов на льду озера. Там много положили их, безоружных партизан, редко кому посчастливилось вынести целой собственную голову.

С книгами теперь была полная невезуха, читать стало нечего. Если у кого и сохранилась какая книжка, так ее драли на сигарки курильщики. Скурили и все учебники, что остались у детей от довоенной школы. Хорошо, что у Кости курить было некому, и он свои запрятал на чердаке. Все-таки, думал, война когда-нибудь кончится и он пойдет в седьмой класс. Если бы не война, окончил бы уже восемь. Тем временем подрастет Витька, будет отбывать очередь на пастьбе, а ему хватит взрослой работы — копать огород, косить сено, молотить снопы да таскать из леса дрова. Лошади у них не было. Разве что вернется с фронта отец...

И вдруг на житней меже возле куста олешин он увидел человека, одетого вроде в военное, даже с автоматом в руке. На мгновение показалось, что там где-то и отец. Но показалось — отца там не было.

— Это... Поди сюда, — кивнул головой военный.

Оглянувшись на коров, Костя нерешительно пошел за кусты, наверно, чтобы не видно было из деревни.

— Пасешь? — спросил Огрызков, чтобы начать разговор.

— Ну.

— А это какая деревня? — кивнул он в сторону выгона.

— Скрипачы.

— Хорошее название. А где Боговизна, знаешь?

— Боговизна? Да там, — махнул рукой Костя в сторону леса. Огрызков нахмурился, подумав, не туда ли этот подросток показывает, откуда они шли ночью? Но что же тогда получается? Скверно тогда получается... Хотя пусть разбирается командир, который ведет их, похоже, не зная куда.

— Ты это... Пройдем со мной. Тут недалеко.

Костя озабоченно оглянулся на коров, но, кажется, все были поодаль от ржи, и он тихонько пошел за Огрызковым, которого сразу и без сомнений принял за партизана. Все дожидался, что тот сообщит что-то важное или, может, покажет. Но Огрызков молча вел его краем нивы, как вскоре понял Костя, к недалекому березнячку. В не очень рослой здесь ржи оставался заметным их след, и Костя подумал, что нельзя было мять несжатую рожь. В деревне за это всегда ругали.

Подойдя ближе к березкам, Костя увидел еще двух военных, спокойно отдыхавших в тени. Отца здесь не было.

— Вон деревня Скрипачы, — подходя, сообщил старшина, и Гусаков недовольно насупил брови.

— А это кто?

— Это пастух.

Минуту командир настороженно и молча сидел на траве.

— Где Боговизна — знаешь? Урочище Боговизна?

— Так знаю, — не сразу скромно отозвался паренёк.

— Пусть покажет, в какой стороне, — предложил и выжидающе умолк Огрызков.

— Ну там, — снова показал Костя в сторону леса.

— Видели? — сказал Огрызков. — Что же тогда получается, командир?

— Ерунда получается! — согласился Гусаков. — Если этому верить.

— Но нельзя и не верить.

Костя тем временем молча стоял напротив, — что он мог им сказать? Кто в здешних местах не знал, в какой стороне Боговизна, куда бабы каждое лето ходили за ягодами, осенью — за грибами. Как-то перед войной во время зимних каникул Костя возил туда подшитые резиной валенки, когда отец с колхозной бригадой работал на лесозаготовках. Ехали на санях, через плохо замерзшее болото, возле речки едва не свалились в трясины. Тогда с ним был дед Богатенок, знавший на болоте все летние и зимние стежки. Дед умер в самом начале войны.

— Вот пусть парень и проведет, — предложил Огрызков. — А то самим как бы снова не вляпаться.

Гусаков напряженно размышлял о чем-то, испытующе-сурово уставясь в Костю.

— Проведешь до Боговизны, — наконец решил он.

Косте вдруг стало жарко от предчувствия того, что в его жизни что-то круто меняется. Он только не понял, в какую сторону — худшую или лучшую. В то же время явственно ощущал, что все это очень не вовремя. Ведь он на пастьбе, а там коровы, с которыми осталась одна Августа. Наверно, уже ругает его на все поле...

— Так я коров пасу, — несмело возразил он командиру, которого уже признал по его приказному тону и офицерскому снаряжению — портупее, пистолету на боку. Командир, однако, его возражение оставил без внимания. Поднявшись на ноги, он уже прилаживал на себе свою ношу — зеленый вещмешок и полевую сумку. То же самое проделали и его спутники — тот, помоложе, что привел его сюда, и пожилой с виду дядька с красным, словно обожженным, лицом и с тугой брезентовой сумкой на боку.

— Твой отец где? — сдвигая наперед увесистую кобуру, спросил командир. — Или нет отца?

— В партизанах, — тихо сказал Костя, не зная, сказать им правду про отца или пока промолчать. Но командир не спросил ничего больше, и он промолчал.

— Полиции у вас много?

— Так нет полиции. Полиция в районе, за восемнадцать километров. А у нас и старосты нет. Как партизаны застрелили...

— Хорошо, — наконец сказал Гусаков. — Тогда шагом марш!

— Але ж у меня коровы, — снова напомнил Костя.

— Обойдутся без тебя коровы! — решительно бросил командир. — Ты веди. В каком направлении?

— Да вон — через лес.

Еще не все понимая, Костя неспешно пошел по меже в сторону леса. На ходу оглянулся, — стадо отсюда не было видно. Ненужный теперь кнут сунул под заросший травой обмежек, и парню сделалось не по себе — наверно, не

надо было ему соглашаться. Но ведь это советские партизаны, такие же, как где-то пропавший его отец, им надо помочь, дело у них опасное и ответственное. Может, не разбегутся его коровы. Августа как-нибудь управится...

Вскоре они вошли в лес, и Костя свернул с дороги на едва заметную в зарослях стежку — повел напрямик. Вплотную за ним быстро шагал Гусаков, немного поодаль — Огрызков. Последним, заметно отстав, шел с нагруженным вещмешком и санитарной сумкой фельдшер Тумаш.

Сосновый, пронизанный солнцем бор вызывал тихое умиление в душе уставшего фельдшера, до того воевавшего на знойном, степном, пыльном юге. Здесь его душа отдыхала, впитывая привычную с детских лет благодать, которую источали эти медноствольные сосны, кустистые заросли орешника, весело зеленевшие между ними нежнолистые березки. Летнее утро вобралось в самую силу, но в лесу было не жарко, — из обросшего бузиной и ольшаником овражка тянуло ночной прохладой. И все же Тумаш стал потеть, потело его некогда обгоревшее лицо, шея и даже голова под пилоткой. Одно плечо привычно ныло под ляжкой санитарной сумки, на другом висела вовсе не легкая его СВТ. Как фельдшеру и младшему лейтенанту ему полагался по штату пистолет ТТ, в крайнем случае револьвер системы «наган». Но в госпитале перед отправкой, по-видимому, не нашлось пистолета, и он вынужден был вооружиться самозарядной винтовкой. Вдобавок к немалому грузу медикаментов в сумке пришлось засунуть в вещмешок четыре пачки толовых брикетов, пакет взрывателей к ним и двенадцать гранат-лимонок в качестве подарка для партизан. Подарок — это хорошо, размышлял уставший за суматошную ночь фельдшер, только таскаться с ним по белорусским лесам — не большое удовольствие. Хорошо еще, что им повезло с приземлением, а попади они в бой, как бы не пришлось Тумашу взлететь на небо. С таким его грузом последнее было весьма возможно.

В общем, Тумаш имел все основания быть недовольным как собственной судьбой в целом, так и не совсем обычным назначением его в партизаны. Кто и когда назначил его в тыл к противнику, Тумаш не знал и теперь, наверное, уже не узнает. Прежде он воевал в танковом корпусе, — вытаскивал обгоревших танкистов из подбитых машин, пока не обгорел сам. Обгорел, в общем, основательно, особенно лицо и руки, которые даже спустя десять месяцев после памятного боя под Калитвой саднили и болели, особенно в жаркую погоду на солнце. Хотя все зажило, выросла тоненькая, сморщенная кожица, затянулась на ранах. Бровей у фельдшера не стало совсем, ушные раковины уменьшились до минимальных размеров — скукожились, как говорила хирург Митина, лечившая в московском госпитале его ожоги. Подлечившись, Тумаш стал помогать в ординатуре в качестве брата милосердия. То было дело знакомое, он не нарекал на новую службу и не рвался на фронт, как некоторые из молодых, считал, что свое отвоевал. За восемь месяцев ему досталось на войне под завязку.

Но где-то вспомнили, спохватились — засиделся фельдшер в тылу. Утречком в понедельник прибежала комиссар госпиталя — быстро, срочно получить аттестат, оружие, боеприпас и — на аэродром. Через двадцать минут — отправка. И без разговоров! Он давно привык, что в армии все — без

разговоров, и, в общем, всегда был готов к наихудшему. Но все-таки хотел и, наверно, имел право знать — куда? Этот вопрос, однако, остался без ответа — такой строго засекреченной оказалась его отправка. Все ему отвечали: там скажут. Но где — там и кто скажет?

Конечно, не через двадцать минут, но часа через три он был готов, получил, что полагалось, и даже недолго подождал возле проходной. Приехал грузовик, полный военных. Взобраться в высокий кузов с его немалым грузом было тяжело, но кто-то подал руку, поддержали сзади. Очутившись в крытом брезентом кузове, фельдшер удивился — куда он попал? Отовсюду на него смотрели молодые девичьи лица под новыми пилоточками, со снаряжением на узких плечиках, все с вещмешками. И кто такие? — мысленно удивился Тумаш, подумав сперва: медицина. Оказалось, не медицина, а связь: радистки, телефонистки. Но куда? И разве он, фельдшер, тоже с ними? Но — там скажут.

Неизвестно, что сказали приунывшим девочкам, которых грузовик повез дальше, его же ссадили на повороте в аэропорт. Уже вечерело, город остался сзади, на взлетном поле ревели моторы тяжелых бомбардировщиков. Его привели в фанерную времянку, где молодой лейтенант в летной фуражке свалил ему на руки какой-то громоздкий ранец: «Снаряжайся!» — «Что это?» — удивился Тумаш. — «Как что? — хихикнул лейтенант. — Или без парашюта спрыгнешь — не высоко ли будет?»

В совершенной растерянности Тумаш стоял перед этим туго напакованным мешком, не представляя, как пристроить его на себя. Спина у него была всего одна, и на ней уже громоздился вещмешок с толом и гранатами, плечо давила увесистая санитарная сумка, в руках винтовка. Куда было пристроить еще и парашют? Тут к нему подошел боец без погон, назвавшийся старшиной Огрызковым, который, по-видимому, имел уже парашютный опыт. Узнав, что они летят вместе, помог фельдшеру разместить на нем его груз, отчего Тумаш стал походить на многогорбого степного верблюда. «Что, первый раз? — спросил Огрызков и, получив утвердительный ответ, только и промолвил: — Да-а-а!»

Это его неопределенное «Да-а-а», может, сильнее всего заставило приуныть Тумаша, который понял, что пропал. В самом деле, если дали парашют, то, наверно, придется и прыгать. А он в своей жизни не только не прыгал с парашютом, но и ни разу не летал в самолете. Немало наездился на повозках, санях, верхом на лошадях в детстве, потом на автомобилях — конечно, в кузовах, поездил на броне танков. А вот летать в самолете еще не приходилось.

Но — пришлось.

В огромной брезентовой палатке при свете синей электролампочки их стали разбивать по командам. Тогда же в палатке появился и этот решительный командир Гусаков, который с бумажкой в руках разыскал их среди других и приказал далее держаться вместе. Они и держались вместе, когда с другими толпились в палатке, потом в дальнем конце аэродрома во время посадки в самолет. В самолете разместились двумя рядами вдоль стен — человек восемнадцать парашютистов, все молчали. Тумаш также молчал — что и кому он мог сообщить? Сказать, что не умеет прыгать с парашютом, —

это наверняка посчитали бы запоздалой попыткой уклониться от опасного задания. На такое у Тумаш не хватало отваги, и он решил: как все, так и он. Если разобьется, значит, так ему и суждено. Не сгорел на земле, так погибнет в воздухе. Как будто разбиться о землю хуже, чем сгореть в танке? Или оказаться растерзанным артиллерийским снарядом? Пожалуй, один черт, утешал он себя. К гибели он давно был готов.

Но прежде чем погибнуть, пришлось немало пережить страха и многого другого, с ним связанного.

Еще на взлете Тумаш вцепился в край металлической скамьи и держался за нее до конца. Весь этот жестяной самолет трясло, словно малярный при лихорадке. А потом стало еще и бросать — вверх и вниз, туда и сюда по небу. Тумаш изо всех сил сдерживал знакомые приступы тошноты, как медику ему было бы стыдно не выдержать первому. Другие, как он видел, чувствовали себя не лучше, но терпели. Он тоже терпел. Полет их продолжался, казалось, вечность, некоторых наконец стошнило. И когда возле кабины пилотов заморгала лампочка, люди словно с облегчением заворошились, почувствовав, что их муки, возможно, окончатся. Но начинались другие. Для Тумаша определенно — еще похуже.

Из кабины вышел грузноватый пожилой пилот в меховом жилете — что-то скомандовав, настезь раскрыл самолетную дверь. Холодный ночной воздух широко шибанул в самолет, парашютисты разом повскакивали со своих мест, концы от их парашютов уже были пристегнуты к общей веревке вверху. По команде один за другим стали исчезать в черной пропасти ночи. Минуту спустя в самолете их осталось трое, но полет еще длился минут двадцать, не меньше. Наконец настала их очередь. Снова растворилась пугающая дверь, сквозь оглушительный рев моторов Гусаков что-то крикнул ему и, ткнув в бок кулаком, также исчез в ветреном мраке. За ним следовало прыгать Тумашу, но тот испугался. Так испугался, что его словно бы парализовало, он не мог ступить и шага к черной пропасти, сжался у скамейки. «Ну!» — гаркнул толстый летун. «Я не могу», — беззвучно промолвил Тумаш. И, наверно, летчик расслышал его, ибо не успел он что-либо подумать, как от мощного пинка под зад уже захлебнулся в черном воздушном вихре.

Все, что с ним происходило потом, он почти не запомнил. Почувствовал только, как грузно свалился в какой-то жесткий колючий кустарник, что, наверно, его и спасло. Парашют еще немного проволоч по земле и постепенно обвял в ночном сумраке. Вокруг было тихо, слышался мирный стрекот кузнечиков. Где-то невдалеке приземлившиеся Гусаков с Огрызковым отыскивали его, помогли собрать скользкие пузыри парашюта. «Быстро, быстро, не отставать — мотаем отсюда!» — вполголоса командовал Гусаков.

И они отмотали в ночи, может, километров пять, если не больше. В оказавшемся по пути болоте утопили свои парашюты и пошли далее за командиром, который уверенно вел их куда-то.

Оказалось, не туда...

Лесная тропинка незаметно вывела их на такую же лесную дорожку, извилистую, грязноватую в ложбинках, обросшую крапивой, лозняком и ольшаником. Сосновый бор остался позади, начинались места сырые и

болотистые. Никого поблизости не было, никто им не встретился. Костя молча вел командира, не перестававшего беспокоиться, куда ли они идут?

В самом деле для беспокойства были причины, он не узнавал местности, не находил ее на карте и все сетовал в мыслях, что так не повезло в самом начале. Перед полетом были другие заботы, думал — как обойдется в воздухе? Хотя и ночь, но их могли перехватить ночные истребители или встретить зенитным огнем над линией фронта, да и само десантирование вызывало страх. Гусаков никому не признался, но прыгал с парашютом также впервые. Самое страшное, однако, обошлось относительно благополучно, это потом началась странная полоса невезений, преодолеть которую до сих пор неизвестно как.

Главное, однако, — не потерять бдительность. Как уже знал Гусаков из собственного военного и даже довоенного опыта, а также как учила партия, бдительность — неременная основа успеха. Потеря бдительности означает верную гибель, особенно во вражеском тылу, где они очутились.

Костя вел их уверенно, видимо неплохо зная здешние стежки. Гусаков держался от него на расстоянии пистолетного выстрела, чтобы в случае чего... Мало ли что может случиться, и командир старался быть наготове. Грязной, заросшей травой обочиной они обошли застоялую лужу под лозовым кустом и вдруг близко за поворотом увидели сельские постройки. Похоже, это была деревня — новая изгородь из еловых жердей, за которой зеленело картофельнище, высился прикрытый ряднушкой стожок свежего сена возле сарая. Замедлив шаг, Гусаков негромко окликнул парня:

— Эй, что это?

— Барсуки, — беспечно оглянулся Костя. — Тут ничего... Никого нема.

«Как это — никого нет?» — озабоченно подумал командир, ощутив невольный протест против неожиданного появления этой деревни. Все-таки о деревне на их пути ему надлежало знать загодя. Но, пожалуй, было уже поздно что-либо предпринимать — их уже заметила женщина из крайнего от леса подворья. Увидела и словно остолбенела в удивлении, вглядываясь в неожиданных пришельцев из леса. Гусаков уже знал эту глупую крестьянскую привычку, от которой всегда ощущал неловкость. Теперь тем более.

Неизвестно, большая или малая была эта деревня, но, не находя ничего другого, Гусаков вынужден был идти за подростком. А тот спокойно себе шагал серединой улицы. В целях безопасности командир принял ближе к изгороди, взмахом руки предупредил о том остальных. Деревня пока казалась безлюдной, в зарослях репейника под оградой он спугнул нескольких куриц, которые с громким кудахтаньем бросились к дому. Тотчас в подворье напротив залаяла, видно, малая визгливая собачонка; от ее лая и еще тревожнее стало на душе у Гусакова. Казалось, сейчас выбегут... Он уже пожалел, что неосмотрительно пошел за парнем, — деревню следовало обойти стороной.

Но собачка недолго полаяла и смолкла, а недалеко впереди короткая эта улица, похоже, кончалась. Лишь по одну ее сторону виднелись две хаты, напротив, за изгородью, стеной высилась рожь. В предпоследнем дворе, однако, кто-то возился — над тыном то и дело мелькала женская голова в белом платке, там же ощущалось присутствие и еще кого-то. Подойдя ближе,

командир понял, что крестьяне складывали сено. Посередине двора стояла полная сена повозка, и баба вместе с сивобородым дедком переносили сено за угол. Увидев незнакомцев, дед опустил вилы и снял с потной головы черный картуз.

— Здравствуйте вам, — сдержанно приветствовал он прохожих. Гусаков удивился: что это значит, за кого он их принимает? За партизан или, возможно, за полицаев? Но тоже кивнул в ответ — на всякий случай. Костя, казалось, без особенного внимания прошел мимо и лишь потом оглянулся. Наверно, парень также тревожился и был рад, что все обошлось. Эта его успокоенность, граничащая с беспечностью, в общем не очень понравилась командиру. Пока, однако, приходилось мириться с этим, как и со многим другим, с чем он неожиданно для себя столкнулся. Его обостренная командирская воля входила в противоречие с коварными обстоятельствами, и это вынуждало его почти страдать.

Выйдя с деревенской улицы, они очутились в холмистом, сплошь засеянном колосовыми поле. Как и возле предыдущей деревни, поле было разделено на нивы-полоски с узкими, едва заметными между них межами. Рослая густая рожь ритмично переливалась под слабым дуновением ветра. В другое время можно бы залюбоваться этой полевой идиллией, но не теперь. Прибавив шагу, командир догнал парня и пошел с ним рядом.

— А что это — снова полосы? Или немцы землю отдали?

— Не, не отдали, — улыбнулся парень. — Сами побрали.

— Опять единоличниками стали?

— Ну.

«Это плохо, — подумал командир. — Заимев землю, вряд ли они пойдут в лес помогать партизанам — будут ковыряться в поле. Вон какая рожь выросла! Но как же тогда с организацией всенародной партизанской борьбы против оккупантов?» — озабоченно думал Гусаков. Будучи пограничником, он помнил довоенные годы в Беларуси и знал, как неохотно при сплошной коллективизации расставались крестьяне с клочками своей малоурожайной земли, сколько было пролито слез. Наконец загнали-таки их в колхозы, и теперь — всё насмарку. Как бы не пришлось загонять снова. Ушлые, однако, эти оккупанты, знают, как удержать мужика от войны.

Недалеко впереди темнел новый лес, и Гусаков приспешил шаг. Все-таки в поле он не ощущал безопасности, мало ли что... Тем более, если в деревне их видели и опознали. Хотя ни погонов, ни звездочек на них не было, а партизаны и полицаи, как он помнил из инструкции, одевались кто во что. «Тем не менее береженого и Бог бережет», — подумал командир и усмехнулся. Конечно, он был большевик и, как следовало из того, — безбожник, но уже знал, что если припечет, то вспомнишь не только о Боге. Хотя именно о Боге и не стоило ему вспоминать. Перед Богом капитан Гусаков был грешен еще с довоенных времен, когда они, пограничники, помогали укреплять советскую власть в местечке, где располагалась их погранкомендатура.

Местечко это представляло собой богом забытое поселение при озере — несколько мощенных булыжником улиц, облепленных еврейскими халупами, три или четыре заготовительные сельповские лавки, кузница и два дома побольше — школа да погранкомендатура, где второй год служил Гусаков.

Граница пролегла сразу за местечком в лесу, для ее охраны была построена новая погранзаства на один погранвзвод. Самым заметным сооружением в местечке была древняя церковь, купола которой виднелись издали — едва ли не со всей округи. Может, даже и с той стороны границы, что являлось недопустимым хотя бы из соображений государственной безопасности. Церковь, конечно, в свое время закрыли, попа арестовали — это было просто, за одну летнюю ночь. С церковными же куполами получилось сложнее — как было их разорить? Это дело поручили лейтенанту Гусакову с десятком его пограничников.

Чтобы разрушить купола, сначала следовало выдрать из них огромные железные кресты, которые только с земли выглядели легкими, почти ажурными в высоту. Добирались до них целый день — так было высоко и опасно. Самый отважный из команды красноармеец Семенов, обвязавшись веревкой, полез со звонницы на крышу и там провалился в проржавевшую дыру, поранил ногу. Других смелых не нашлось, пришлось Гусакову на купол самому лезть. Прежде он и не догадывался, какое это противное чувство — страх высоты и как он натерпится его, пока доберется до ржавого креста. Но заставил себя добраться. Прежде всего потому, что видел в том свой долг молодого безбожника-большевика, неделю назад принятого кандидатом в партию. Опять же с земли, с площади и дворов, даже детвора из школы наблюдали за его антирелигиозным подвигом, и там, чувствовал он, были не только доброжелатели. Наверно, соблазнительно для некоторых увидеть, как он сорвется. Но не сорвался, морским узлом завязал толстый канат за основание креста и спустился на землю. Тянули крест сообща — группа пограничников как основная сила, им помогали местечковые комсомольцы, партийцы, а также некоторые крестьяне-бедняки из окрестных деревень. За тот подвиг на церковном куполе Гусаков получил свою первую награду — знак отличника РККА, которым гордился до начала войны. Возможно, с помощью награды и пошел на повышение, получил новое звание. Но это несколько после.

Пыльная полевая дорожка, повиляв среди ржаных нив, спустилась в ложину с овражком, где они перешли неглубокий, почти пересохший ручей и опять взобрались на пригорок. Солнце уже поднялось высоко и немилосердно палило в безоблачном небе, горели их натруженные плечи под отяжелевшими, словно камнями нагруженными вещмешками. Все вспотели, устали, но Гусаков не сбавлял темпа ходьбы, то и дело пристально оглядывая местность. На самом пригорке он вдруг громко выругался: в километре впереди раскинулась новая деревня. Судя по всему, была она не малая — сады, огороды, уличные посадки растянулись до соседнего леса. Нет, в такую деревню идти было невозможно, о чем он и предупредил парня. Костя в ответ промолчал, лишь озабоченно осмотрелся — ячменные нивы, картофлянице, овражек с ольшаником — и картофельным обмежком повернул в сторону, в обход деревни. Поблизости людей не было, но далее, возле деревенской околицы, по невидимой отсюда дороге появились две порожние повозки, — быстро катили куда-то в сторону поля, наверно, за сеном. Вскоре, однако, они скрылись в ложине, и командир облегченно вздохнул.

Изнывая от жары, они добрались до леса, который оказался мелким ольшаником, и сзади недовольно заговорил Тумаш:

— Может, остановиться, перекусить? А то сил уже нет...

«А если, действительно, тут и остановиться, — подумал Гусаков, — перекусить из скудного, на двое суток пайка, который получили в Москве?..» Правда, сам он не ощущал голода, только хотелось пить. Но где напьешься? Не из ручьев же пить грязную воду, еще подцепишь какую холеру... Но прежде надо было взглянуть на карту. Тем более, что невдалеке деревня, название которой, наверное, знает Костя.

Немного отойдя от опушки, они остановились на неширокой, усыпанной смолянками поляне, сбросили вещевые мешки. Тумаш сразу упал там, где стоял. Костя скромно присел на траве.

— Это какая деревня? — спросил у него командир.

— Староселье это.

— Так сколько до Боговизны?

Все насторожились в ожидании ответа. Костя, немного подумав, усомнился:

— Кто его знает. Может, километров десять. Кабы по дороге, я бы сказал правильно. А так...

— По дороге — исключается, — объяснил Гусаков и снова впери́л глаза в карту. Староселья там не было, значит, до их урочища еще придется потопать.

Тумаш тем временем развязал свой вещмешок, вынул пару сухарей. Поймав на себе взгляд парня, один сухарь протянул Косте.

— Угощайся. Гостинцем из Москвы, — сказал он и тут же умолк под осуждающим взглядом командира.

— Не слишком афишируй свои гостинцы. Понял?

Да, он понял и сразу потерял желание угощать парня. Значит, нельзя. Что ж, разве впервые... Самому больше останется, как когда-то острили в танковом корпусе.

Свалив с себя тяжелый, нагруженный толлом вещмешок, старшина Огрызков откинулся спиной на траву и вытянул ноги.

Он тоже вымотался за дорогу и не прочь был часок отдохнуть в тени, но чувствовал, что командир им этого не позволит. Словно заведенный, командир устремлен к цели и, пока ее не достигнет, не успокоится и никому покоя не даст. Видно, такой уж он человек. Все усложнялось еще и тем, что только у него имелось конкретное задание, полученное устно с запретом что-либо помечать или записывать. Огрызкову сообщили, куда они должны прибыть, но лишь в общих чертах — урочище Боговизна, где базировалось руководство партизанской зоны. Урочище огромное, даже не все вместились на карту, но, дойдя до него, они должны найти то, что им надо. Лишь бы дотянуть до Боговизны. Идти в общем было безопасно, никто их не преследовал, парень вроде бы знал направление и пока уверенно вел. Наверно, они могли бы где-нибудь передохнуть в деревне, попить молочка и кой-чего другого. Но с этим командиром, пожалуй, отдыха не получится.

Посидев недолго над картой, Гусаков снова сердито выругался и устало поднялся на ноги:

— Старшина, а ну отойдем!

Они недалеко отошли в ольшаник, чтобы не было их слышно с полянки.

— Ты уверен, что парень не подведет? — вполголоса спросил Гусков. Огрызков пожал плечами.

— Быть уверенным ни в чем нельзя. Но — ведет...

— Думаешь, он знает, куда?

— Наверно, знает. Он — здешний.

— Здешний! От этих здешних знаешь, чего можно ждать?

Старшина не ответил. Он лишь внимательно посмотрел на командира и подумал: «Ну чего мандражишь, подозреваешь? Плохой тебе проводник — поди в деревню, найди лучшего. Но опять, наверно, пошлешь старшину?»

— Ты вот что! — завершая разговор, сказал Гусаков. — Придем — про парня ни слова! Никому. Понял?

— Я-то понял. Но...

— А что — но?

— А все то же, — неопределенно ответил Огрызков, и Гусаков, наверно, расценил это по-своему.

— Сомневаешься? — прищурясь, спросил он. — И я сомневаюсь. Вот же положение, мать его растакую!..

Так ни о чем не договорившись и ничего не выяснив, оба вернулись на полянку. Тумаш с Костей лениво грызли московские сухари, и командир сразу скомандовал:

— Подъем! Потопали дальше. Ты, — повернулся он к Косте, — веди! Не туда заведешь, пеняй на себя! Понял?

Костя не ответил, лишь заметно помрачнел с лица и глубже надвинул на голову кепку.

В ольховой чаще они набрели на густые заросли малины. Крупные, налитые соком ягоды, словно виноградные гроздья, висели на высоких, в рост человека стеблях. Жаль, не было времени, лишь на ходу, отбиваясь от комаров, они успели сорвать по несколько ягод. К вечеру в лесу комары прямо-таки зверели, казалось, за каждым кустом поджидая человека, тучами вились над головами, то и дело жаля в лицо, шею, руки, в неумной жажде крови лезли в нос и глаза. Костя по сельской привычке в общем казался к комарам терпимым, остальные же отбивались от них, как могли. Парню же было не до комаров: порой он переставал узнавать местность и путался в направлении, куда следовало идти. Другое дело — если бы идти по дороге. Но командир сказал, что по дороге нельзя, и Костю охватывал испуг: а вдруг заведет не туда? Может, пойти в деревню, спросить? Но пустят ли одного в деревню?

Пока, однако, спутники его молчали. Упрямо продираясь сквозь ольховые заросли, молчал и Костя.

После комариных чащоб заросли поредели, в вырубках и перелесках идти стало легче. Иногда им попадались скошенные луговые участки, трава с которых была уже срезана, но осталось много травяных корневищ особенно под кустами. Здесь Костя до крови проколол стопу и захромал, стараясь, однако, чтобы этого не заметил командир. На ходу парень вспоминал Боговизну. Плохо, конечно, что он съездил туда всего один раз, и то зимней

порой. Летом там все, наверно, выглядит иначе, и он боялся, что может не вспомнить подробностей дороги и заблудиться.

Если бы знать, что придется вести туда партизан... Сидя тогда в санях, он полдороги слушал рассказ деда Богатенка про его службу кучером у пана, какой злой и нехороший был пан и какой славной была молодая пани. У нее с кучером сложилось что-то вроде тайной любви, но не озорной и постыдной, а больше деликатной и жалостливой. Пани жалела парня, у которого перед тем умерла при родах молодая жена, и он очень переживал это. Пан в самом начале той, николаевской, войны погиб в Галиции, а пани после революции перебралась в Варшаву. Более кучеру встретить ее не пришлось, и он до сих пор ее вспоминает... «А как звали пани?» — спросил Костя. «Звали пани — Анеля», — сказал дед Богатенок. «Анеля, Анеля...» — ангельским голосом долго звучало в мальчишечьей душе это имя, в которое Костя вроде даже влюбился. Но это потом. А тогда его заботой было отвезти отцу валенки. На зимних колхозных лесозаготовках отец работал в веревочных чунях, в которые для тепла накладывал сена, обвязывал оборами и так отправлялся с мужиками в лес. Единственную в хате пару латаных валенок оставил сыну, чтобы тот мог ходить в школу. Говорил, будто в лесу они ему все равно не нужны, так как требуют ежедневной сушки, а там сушить негде. Наверно, однако, отец говорил неправду, потому что другие мужики где-то же сушили свою обувь. Тем не менее половину зимы Костя проходил в отцовских валенках, пока из города не приехала их добрая тетя Наста, привезла ботинки, ставшие тесными ее племяннику. Ботинки были не новые, но еще крепкие и пришились по ноге Косте. Валенки же они с матерью решили передать отцу, и Костя повез их в Боговизну, где на боровом островке обосновались лесозаготовители. До поворота на станцию его подвез дед Богатенок, а последние три километра пути Костя пробежал по санной дороге.

Вяло отмахиваясь от комаров, он устало брел по кустарникам и все думал: а вдруг заведет не туда? Когда-то читал в книжках, что в определенных случаях можно ориентироваться по солнцу, но не понимал, как? Ведь солнце не стоит на месте, все время движется в небе и никак не указывает нужную сторону. Из дому направление на Боговизну приблизительно было известно — через лес, на Барсуки, затем по дороге на озеро и через вырубку на Большое болото. Там все было просто, а сейчас все спуталось. Может, лишь интуитивно он чувствовал, в какую сторону идти, однако нужной уверенности не было. И парень начал опасаться, как бы его неуверенности не заметили остальные. Костя испытывал неловкость перед этими присланными, как он понял, из Москвы партизанами. Очень хотел им услужить, видел, как они изнемогли от своей тяжелой ноши и готов был что-либо нести. Но ему ничего не давали. Он бы с радостью понес автомат или винтовку. Винтовку, названную СВТ, Костя видел впервые. Обычные винтовки он видел зимой, знал, как их заряжать, как стрелять, а вот эту — нет. Новое, значит, оружие в Красной армии, не то, что у партизан, — коротенькие немецкие автоматы, как у братьев Яхремовых, — далеко ли из них достанешь? Прошлой зимой братья приезжали в деревню на заготовку продуктов для партизан. Привязав к саням трех коров, повели их на Остров Борок, в свой партизанский штаб, — тоже где-то на Боговизне.

В конце дня жара спала, начало вечереть, в лесу стало прохладнее. Уже в сгустившихся сумерках они набрали на едва заметную в кустах дорожку и пошли по ней. Дорожка была заброшенная, давно не езженная, но, казалось, вела в нужном направлении. Спустя недолгое время и вовсе стемнело. Окрестные лесные заросли поглотил ночной мрак, даже вблизи ничего нельзя было увидеть. Идти по дороге можно было лишь наугад, ощупывая землю ногами. Недолго пройдя в темноте, Костя понял, что сбился с пути. Наверно, то же понял и командир, который тихо скомандовал: — «Стой!» Оба они остановились. Из сумрака вскоре подошел Огрызков, они подождали отставшего Тумаша, который, догнав их, раздраженно заговорил:

— И сколько можно? Без отдыха, без привала. Или мы от кого убегаем, или кого догоняем?

— Ладно, — устало произнес командир. — Отойдем с дороги... На пару часов, все равно уже...

Что — все равно, он не объяснил, сошел с дороги в кустарник, пробрался через колючую чащобу и первым опустился — на повлажневшую от росы траву.

— Садись все!

Они сразу попадали наземь, где кто стоял, сняли вещмешки, вытянули натруженные ноги. Минуту сидели молча, прислушиваясь к таинственным звукам ночи. Где-то с небольшими перерывами настойчиво вел свою песнь турок — ночное насекомое. Лесные окрестности и ночью наполнились множеством звуков, которые сейчас были даже явственнее, чем днем. Или все эти звуки сейчас становились более слышными, этого городской житель Огрызков понять не мог. Первый раз ночуя в лесу, он не мог побороть в себе странное, боязливое чувство. Знал же, что все напрасно, ночью в лесу то же, что и днем, а увидеть в темноте почти ничего невозможно. Все, что ни повидится ночью, на деле - причудливое и фальшивое. Ночью каждый куст кажется загадочным, каждое пятно издали таит в себе подозрительный знак. Вернее в ночи слух, но и он нередко подводит, выдавая кажущееся за действительное. Еще с вечера где-то в стороне от их пути таинственно подавала голос, воркала какая-то птица, Тумаш сказал, что это болотная выпь. «Странное какое название», — подумал Огрызков. Ненадолго замолкала, будто задумывалась, потом начинала снова. Или во второй раз была какая-то другая птица? А в кустах поблизости от места, где они остановились, недолго слышалась подозрительная возня-шуршание — может быть, зайца или снова какой-то птицы. Но вряд ли человека, как могло показаться ночью. «Вообще человеком тут и не пахнет», — думал Огрызков. Похоже, они забрались в такую глушь, что везде только кусты да болота и ни одной деревни. Молодцы ребята, знают, где надо партизанить. И напрасно Гусаков дергается, чересчур остерегается. Или что-нибудь предчувствует? Может, у командира какое другое задание, помимо его бесценных наград?

Пока, однако, больших сложностей на их пути старшина Огрызков не видел. Правда, они не встретили партизан, но и не нарвались на немцев. Вокруг была мирная, словно бы довоенная жизнь. В полях наливаются рожь,

крестьяне заготавливают сено. Понятно, всем хочется есть. И никакой тебе всенародной борьбы с оккупантами.

Согласно документам военную службу Огрызков проходил в качестве разведчика-диверсанта и был занесен в штат определенной секретной службы. Однако с самого начала войны эта его служба сложилась так, что он не имел никакого отношения ни к разведке, ни к диверсиям, потому что работал спецповаром третьего разряда.

Поварство его началось как-то неожиданно, почти внезапно для самого Лешки Огрызкова. Еще перед войной по окончании школы едва не все его друзья поступили в летные военные училища. Огрызков также подал документы на летчика и даже полгода готовился — прыгал с парашютом с вышки на городском стадионе. Экзамены в училище не были трудными, экзаменаторы особенно не придирались, но Огрызкова забрала медкомиссия — подвели ноги. Парень и не подозревал, что у него плоская стопа, всегда ходил и бегал нормально. Оказалось, с такой стопой служить в авиации не полагалось. Он пытался спорить: мол, в авиации — не в пехоте, ходить не надо. Но те, в белых халатах, были неумолимы — не положено, и точка. Со жгучей обидой Лешка вернулся домой. Мамаша, у которой он был единственным, любимым сыном, к его удивлению, не очень горевала и скоро устроила его в кулинарный техникум, что размещался в купеческом доме на соседней улице. Спустя два года Лешка получил не очень почетный, зато красивый диплом кулинара-повара третьего разряда. Тут началась война.

Когда стали призывать не прошедшую срочную службу молодежь, он снова заявил в военкомате, что желает в летные части. Но у него спросили про образование и, услышав о кулинарном техникуме, переглянулись. Сказали — завтра зайти на третий этаж к полковнику-военному. Назавтра полковник дал направление в штаб округа, где его встретили в шикарно обставленном кабинете, повели на какие-то склады, обмундировали в новенькое и оформили в загадочный диверсионно-разведывательный отдел. Огрызков был ошеломлен. Но ненадолго, потому что вместо гибельного немецкого тыла вскоре оказался на вполне комфортабельной даче по Можайскому шоссе. Вечером принял поварское хозяйство на уютной кухне большого начальника — генерала в синей фуражке, которого увидел, однако, только месяц спустя.

Работа на кухне оказалась довольно нудной, никаких специальных знаний там вовсе не требовалось. Его поварская наука сразу была отброшена за ненужностью, когда он целиком очутился в подчинении генеральши Матрены Ивановны. Та лучше его знала, как следует жарить котлеты, отбивать бифштексы и варить борщ. Ничего другого и не требовалось. Наверно, генерал был вполне удовлетворен тем, к чему привык, и его спецповару не оставалось ничего другого, как в точности исполнять требования хозяйки. В общем эта кухня очень скоро опротивела Лешке Огрызкову, который однажды и попросил генерала отправить его на фронт. Но генерал тихим голосом пообещал отправить его в штрафную роту, если он будет проявлять недисциплинированность во время войны. Огрызков счел свою военную карьеру окончательно испорченной и каждый день только и думал, как смыться с этой провонявшей жареным луком дачи.

Так длилось год или немногим больше. Как-то зимой генерал объявил, что намерен устроить банкет для узкого круга лиц по поводу получения им очередной звезды на широкий генеральский погон. Чтобы повару было сподручнее управиться с большой готовкой, прислали помощницу — славненькую вертлявую Анечку, которая на другой же день почти выжила с кухни и его, и старую генеральшу. Лихо и весело управлялась она с жаровнями-сковородками, пекла и жарила, потом с отменным вкусом сервировала стол. Откуда-то привезли фанерный ящик хрусталя и фарфора, которые Анечка тонкими пальчиками до самого вечера расставляла-переставляла на длинном, покрытом белой скатертью столе. Как там пировали басовитые генералы и присмиревшие при них полковники, Огрызков почти не видел — его обязанностью было готовить очередные блюда и мыть посуду. Зато Анечку, словно актрису на бис, то и дело вызывали в столовую, где пили за ее здоровье, счастье и молодость. Пила и Анечка. Но лишь чуть-чуть. Она была умницей и не могла позволить себе напиться.

После того замечательного банкета генеральша три дня проплакала, а потом и вовсе куда-то исчезла. Куда — Огрызков не спрашивал и никто ему ничего не объяснял. Несколько дней он, как обычно, жарил котлеты и варил борщ. А потом на генеральской даче появилась все та же Анечка, но уже на правах хозяйки. К повару Лешке она отнеслась по-товарищески, как к старому знакомому и, к его удивлению, почти перестала заниматься кухней, словно ничего в ней не смыслила. Впервые повар почувствовал немалую свободу на даче. Какие-то бойцы привозили утром с пищекомбината имени Микояна отборные субпродукты, он принимал их по накладной и готовил завтрак генералу и его молодой Анне. Днем варил любимый генералом украинский борщ, что-нибудь из легких закусок припасал на ужин.

Спустя недолгое время у генерала на службе случилась запарка, он стал где-то пропадать до ночи, а то и вовсе не приезжать на ночлег — начались поездки, командировки. Как-то весной его не было дома, может, дней двадцать — потом оказалось, летал в партизанский тыл, в Брянские леса. Анечка беспокоилась, сетовала на одиночество и скучала, все чаще наведываясь на кухню, и Огрызков почувствовал, что добром это не кончится.

С начала лета он ночевал на солдатском топчане в пристройке под старой плодовой яблоней, с которой под осень увесисто шпокали о его толевую крышу большие краснобокие яблоки. Как-то ветреной ночью, засыпая под их явочный стук, он не сразу услышал, как звякнула дверная задвижка, и на него дохнуло не яблочным запахом, а духами, тонкие пальчики охватили его округлые плечи. Услышал задыхающийся шепот молодой женщины...

Анечка была не намного старше его, двадцатидвухлетнего балбеса, но по-женски превосходила на целую вечность. Умела пустить пыль в глаза — и мужу, и подругам, и немногочисленным сослуживцам генерала, которые иногда наведывались на дачу. При людях относясь к повару с демонстративной строгостью и даже придирчивостью, не стесняясь выговорить ему за недожаренные или пережаренные котлеты (которые, впрочем, всегда были нормальными), потом, когда за гостями или генералом закрывались двери, бросалась повару на шею. По всей видимости, именно по

ее инициативе диверсанту-спецповару присвоили звание старшины — минуя все сержантские ступени. Раза два Анечка намекнула и на орден, который мог бы оформить какой-то полковник Ануфриев. Само собой, Огрызков регулярно менял обмундировку, последний раз получил шерстяную офицерскую форму с юфтевыми сапогами. Старые растоптанные кирзачи бросил через забор на соседнюю дачу. Как-то в минуту ночной откровенности Анечка поведала молодому другу про свою сердечную драму, опрокинувшую все ее женское счастье. Ее первый муж, летчик-герой, был репрессирован всемогущей службой этого генерала, и хотя ее вынудили отказаться от него, она не переставала любить мужа и составила хитрый план его спасения, половину которого уже осуществила. Немалыми усилиями сумела увлечь этого нестарого еще генерала и почти стала его женой. Она свято верила в силу собственной привлекательности и уверяла, что своего добьется. Зарукой тому ее безграничная любовь к безвинно попавшему в беду летчику-герою, ради которого Анечка готова на все. Держа ее в своих неслабых объятиях, Лешка Огрызков кисло усмеялся в темноте: сомневался, что, окажись он на месте того летуна, принял бы такое спасение. Но у Анечки, видно, были другие на этот счет соображения, и он смолчал, все теснее прижимая ее к себе.

При всей своей женской уверенности Анечка, по-видимому, не учла некоторых особенностей профессии генерала. Хотя тот и отлучался из дома, но вовсе не оставлял его без присмотра, и кое-что из отношений Анечки с поваром стало ему известно. Неделю тому назад, неожиданно вернувшись из командировки, он оставил свой «виллис» в начале улицы и к даче подошел пешком. В их спальне жены не оказалось, Анечка в это время блаженно досматривала сны в пристройке; старшина-повар тем временем растапливал на кухне плиту. Там же генерал и объявил Огрызкову, что ему все известно и он отправляет повара — диверсанта и разведчика — в партизанскую зону на исправление. «Куда?» — поинтересовался ошеломленный Лешка. В распоряжение белорусского друга генерала — секретаря подпольного обкома. «Что ж, — подумал Огрызков, — наверно, и подпольные секретари любят пожарские котлеты, не все же питаются концентратами с московского пищекомбината имени товарища Микояна». В тот же день он собрал свой вещмешок и, недолго помявшись у генеральской спальни, где, запершись, рыдала Анечка, пошел на электричку. В партизанском штабе уже его ожидали.

Он ничего больше не слышал об Ане и особенно не тосковал о ней. Иногда, вспоминая генеральскую дачу, думал: какой там у них новый повар? Если ничего себе парень, то Анечка своего не упустит. Но, может, не пропадет и Лешка Огрызков. Особенно если у партизанского генерала окажется молодая ППЖ...

Тумаш уснул сразу, как только свалился наземь, но, показалось, его тут же кто-то толкает — вставай! Фельдшер не сразу понял, кто это и где он. Оказалось, будит его Огрызков, который, стоя над ним, что-то спрашивает.

Тумаш торопливо поднялся, огляделся. Ну и местечко выбрали они для ночлега! Болото не болото, но и не лес — какая-то заросшая крапивой да ольшаником пустошь. Наверно, от крапивы и комаров сильно саднило лицо и руки. Уже рассвело, небо вверху наполнилось светом и голубизной, но в ольшанике было сумрачно, воняло грибной, мухоморной сыростью, и

фельдшер со сна зябко содрогнулся. Командир, сидя напротив, копался в своем вещевом мешке, Костя с унылым видом стоял поодаль.

— Доктор, сухарика не осталось? — спрашивал старшина. Тумаш развязал свой неновый, с мелкими дырками вещевой мешок, из-под брикетов тола достал два обкрошенных сухаря. Старшина разломал сухарь пополам, половинку протянул Косте. Тот мотнул головой:

— Не хочу.

— Думаешь малиной питаться? Ну-ну, — упрекнул его старшина и спрятал сухарь в карман.

Рядом поднялся с травы и командир. Он по-прежнему выглядел озабоченным, вроде рассерженным чем-то. Перекинув через плечо ремень полевой сумки, продел руки в лямки вещмешка. Напоследок аккуратно оправил гимнастерку под ремнем с обвислой кобурой пистолета. Вообще ноша у командира была наверняка полегче, чем у них двоих, заметил фельдшер и взял с травы мокрую от росы винтовку. Груза у него набралось больше, чем у всех.

— Хочешь, дам поднести, — сказал он парню, подняв санитарную сумку.

Костя несмело держал ее в руках.

— Не тяжелая, самый раз будет, — заверил фельдшер и взглянул в сторону Гусакова, который выразительно поглядел на него, но смолчал.

На ходу дожевывая сухари, они выбрались из кустарника на вчерашнюю мокрую от росы дорожку.

Над лесными окрестностями занималось погожее летнее утро. Небо в прогалинах между верхушками невысоких деревьев сияло голубизной, но солнца еще не было видно. Возле путников с тихим зудением вились комары, хотя вчерашней назойливости пока не проявляли, — наверно, дожидались тепла и солнца. За время войны на юге Тумаш почти отвык от комаров, которые теперь немало досаждали ему. Особенно когда жалили в лицо и руки. И ему вспомнилось, как когда-то по таким вот росистым утрам он ходил на озеро — порыбачить. Тогда он был молод, недавно окончил фельдшерский техникум и на пару с доктором Дашкевичем работал в местечковом медпункте. Будучи холостяком, гулял с местными девчатами. И однажды летом увлекся рыбалкой на живописном озерке, раскинувшемся сразу за местечковой околицей. Берега озера густо заросли тростниками, но в одном месте тростник расступался, образуя неширокий пляжик, где на песчаной отмели возле дороги плескалась в полдень и вечером голосистая местечковая детвора. Тумаш выбрал для рыбалки укромное место поодаль, возле поваленного бобрами дуба, иногда там брались красноперка и плотва. Рыбак Тумаш был не очень везучий, иногда за все утро приносил домой каких-нибудь пару плотвичек — коту на завтрак. Случалось, правда, ловил и побольше, а однажды поставил рекорд — дюжину окуньков, которых и зажарил в день собственного рождения, пригласив на угощение коллегу — доктора Дашкевича. Это был человек в годах, жил холостяком, квартировал у сварливой еврейки Голды, с которой последнее время не разговаривал вовсе. Ничего другого из жизни доктора фельдшеру не было известно, да он и не интересовался им, занятый собой — начавшимся ухаживанием за дочерьми Лейбы Когана, в квартире которого недавно поселился. Отношения доктора с

фельдшером были чисто служебные, именно такие, видно, и устраивали необщительного, молчаливого Дашкевича. Он никогда и ни с кем не выпивал — ни на работе, ни на вызовах в деревнях. Эта его особенность не всем была по душе в местечке, некоторые открыто не любили доктора, говорили: чересчур гордый, пренебрегает простым человеком. На дне рождения Тумаша неожиданно для фельдшера выпил и разговорился, как будто его прорвало — и об их трудной, неблагодарной работе, и о классовой борьбе и коллективизации, о вымышленных врагах народа и коварных органах. Оказалось, накануне в городе арестовали его сына, инженера-химика, и отец был уверен, что арестовали безвинно. Тумаш сначала даже испугался, пытался возражать, не соглашаться, но скоро понял, что возразить нечего — доктор говорил правду. Но кому не известна была эта его правда, хотя вслух о том не говорил никто, все боялись, — зачем было говорить и доктору Дашкевичу? Кто не знал, что колхозники голодают, что интеллигенция запугана и прижала уши, что всем заправляют органы, придавившие собой и партийное руководство. В районе уже четвертый секретарь райкома партии, все прежние репрессированы. Но репрессировано также и немало колхозников, директор местечковой школы, две учительницы. Зачем было о том говорить? Долго ли можно с такими взглядами гулять на воле?

После памятного разговора Тумаш не удивился, когда однажды, придя на работу, увидел на амбулаторных дверях красную сургучную печать, — сообразил: доктора взяли. На его квартире у Голды всю ночь шел обыск, на амбулаторию еще не хватило времени. И Тумаш встревожился — теперь его очередь. Подумав так, вернулся домой, взял свою свитую из конского волоса удочку и побрел на озеро — в его самый дальний конец. Рыба, однако, клевала плохо, да он и не следил за поклевкой, голова его раскалывалась от пугающих мыслей — что теперь будет? Все-таки они там, за бутылкой, были вдвоем — что может подумать доктор? Тумаш ни о чем никому не рассказывал, но в старом еврейском доме кроме хозяев да их дочерей были и еще квартиранты. За дощатой, оклеенной газетами стеной квартировал с семьей учитель обществоведения Квятковский, с другой стороны жил старый бухгалтер сельпо — тихий, неприметный человек, фамилии которого за два года так и не запомнил Тумаш. Наверняка их разговор подслушали, но кто именно?

Тумаш ждал и боялся ареста, а его не арестовывали — лишь вызвали в райотдел НКВД и показали несколько высказываний Дашкевича. Вопрос следователя был поставлен ребром: говорил или не говорил это доктор? Тумаш недолго думал — в общем все было записано правильно или почти правильно, отрицать бесполезно, и он подтвердил: да, говорил. И подписал. По-видимому, следователя это удовлетворило, его отпустили, сказав: когда понадобится, — вызовем.

Все лето, осень и начало зимы, во время финской войны и до начала Отечественной фельдшер Тумаш жил под гнетом пугающего ожидания, когда вызовут? Или когда возьмут? По этой причине рухнули и его любовные отношения с младшей дочерью Лейбы, не женился на ней, — страх подавил все его чувства и сковал намерения. Когда началась война и его мобилизовали в армию, Тумашу в некотором смысле стало даже спокойнее — со временем все больше крепла уверенность, что не вызовут. И правда, не вызвали и не

взяли. И он постепенно почувствовал себя наравне со всеми, с души спал ежедневный угнетающий груз. Правда, вместе с войной навалился другой груз, который, наверно, и вытеснил первый. Но это был обычный на фронте страх ожидания гибели, который фельдшер Тумаш переживал не один, а вместе со всеми. Тут уж нарекать не на кого...

— Озеро? — с привычной тревогой спросил командир, увидев, что Костя впереди остановился.

— Озеро, ага. Я ведаю. Это Кузыревское...

Они остановились на пригорке в редком приозерном лесу — впереди между высоких сосен солнечно сияла ровная поверхность пролегшего поперек их пути озера с обросшими камышом берегами. Под противоположным берегом виднелся густо заросший ольшаником небольшой островок.

— Вон и островок, точно! — радовался парень с надетой через плечо, обвисшей санитарной сумкой. — Теперь надо обойти. Тут близко, через речку.

— Как называется река? — насторожился командир. Присев, он уже разворачивал вынутую из сумки карту. Но, как называется речка, парень не знал и непонимающе пожал худыми плечами.

Минуту командир вглядывался в карту, осмотрел все извилины речек с непривычными для его глаза названиями. Речек там было несколько, но озера не оказалось. И все-таки, судя по всему, они двигались в правильном направлении, иначе парень так сразу не узнал бы знакомое место. Эта мысль взбодрила приунывшего было командира, и он почти весело scomандовал:

— Так шагом марш! Веди в обход.

Костя взглянул в одну сторону, в другую и между сосен сбежал с пригорка. Они втроем направились следом.

На душе у командира стало спокойнее, наконец появилась уверенность, что не заплутают. Хотя на карте этой местности еще не было, но если парень ее узнал, то наверняка скоро будет. Гусакову главное, чтобы какой-либо признак местности появился на карте, остальное он бы определил без проблем. Тогда отпала бы надобность в проводнике, тем более в этом подростке. Смешно будет признаться кому-нибудь в штабе, что деревенский пастушок два дня вел их на партизанскую базу, которую они не могли обнаружить, даже имея карту. Как последние обормоты, заблудились в белорусских лесах и болотах.

Но, пожалуй, действительно заблудились, хотя и не по своей вине, — по чужой, как это случается на войне. Хотя капитан Гусаков воевал недолго, до тяжелого ранения в голову, но хватило войны и ему. Особенно в ее начале, когда он с группой пограничников пробирался на восток от самого Белостока до страшной Соловьевской переправы, где его и ранило. Все время шли — днем и ночью по уже занятой немцами территории, кормились и укрывались по деревням и хуторам, натерпелись разного. На пути встречались хорошие дядьки и тетки, кормили, привечали, показывали дорогу на восток, иные плакали, поминая собственных кровных, что вот так же где-то мыкают военную долю. Но были и другие — те, что дожидались немцев, которые бы установили европейский порядок, распустили колхозы да вернули крестьянам отобранную у них землю. Однажды они ночевали в деревенской

школе, учитель которой рассуждал вечером, что немцы — культурная нация, верует в бога. Что страна, давшая миру Гете и Шиллера, не может поступить плохо — наладит и в Беларуси цивилизованную жизнь. Лишь бы окончилась война, а там все будет хорошо — лучше, чем при безбожных Советах. Этого поборника немецкой культуры пришлось утром шлепнуть у стены его школы. Нельзя было таких оставлять оккупантам, которые сразу бы сделали из них прислужников-полицаев, чтобы убивать комсомольцев и коммунистов. Правда, было немного неловко оттого, что накануне учитель накормил их ужином, даже угостил медом. Но мед — одно, а политика — совсем другое, как мудро заметил политрук Седелкин, и они скоро успокоились.

А то было и похуже. В другом месте на хуторе поляка-осадника их встретила молодая пани-шляхтянка, которая даже не захотела с ними разговаривать, твердила одно: не разумеем, не разумеем. Хотя, как было не понять четких вопросов, заданных ей на простом русском языке? Как потом выяснилось в соседнем селе, муж шляхтянки оказался офицером польского войска, разбитого Красной армией в 39-м году. Значит, затаила обиду! Жаль, далеко было возвращаться на хутор, а то бы они показали ей, как обижаться на советскую власть.

Правда, это было в Западной Беларуси, лишь два года тому назад воссоединенной с Восточной. В Восточной же все обстояло иначе. Прежде всего создавалось впечатление, что Восточная вконец обезлюдела — одни бабы да дети по деревням, а мужики то ли на фронте, то ли в партизанах или куда-либо спрятались. Некоторые ссылались на недавнюю классовую борьбу и репрессии, но не могло же случиться, что в тридцатые годы всех мужиков поголовно репрессировали, раскулачили, сослали в Сибирь. Хотя если кого и репрессировали, то, пожалуй, было за что. Если бы того не сделали, так с началом войны, здесь наверняка стреляли бы в спину красноармейцам, как это случилось в Прибалтике. Очень злые попадались люди.

Озеро они обошли в общем удачно — перебрались через неширокую болотистую речушку, для чего пришлось всем разуться, подвернуть брюки.

Старшина и совсем снял свои офицерские бриджи, сказал: «Надоело ходить в мокром — только вчера к вечеру обсох после ночного купания с парашютом!» Держался Огрызков независимо, избегая лишней раз показать свою подчиненность, что иногда задевало Гусакова. Но командир утешал себя тем, что старшина — временно подчиненный, не армеец и не партизан, лишь прикомандированный к его группе для доставки в партизанский штаб. Он, конечно, догадывался, что старшина связан с органами, хотя и не видел в том ничего особенного — кто с ними теперь не связан? «Тем не менее ухо с ним следовало держать остро, — думал Гусаков, — потому что, по существу, еще неизвестно, кто к кому прикомандирован, кто из них главнее. Очень возможно, что Огрызков — не старшина вовсе (иначе откуда у него эта офицерская форма?) и даже не Огрызков, а кто-то другой». Впрочем, Гусакову до того дело малое, так же как и до фельдшера, который все время норовит отстать. Все тому не нравится — то груз на плечах чересчур тяжелый, то жарко, то идут слишком быстро. Отстающих на войне Гусаков видел немало, в общем их хитрости были ему известны. В то первое военное лето из их пробиравшейся на восток группы половина бойцов не дошла, отстала. По

различным причинам — то изнемогли, то понатирали ноги, то заблудились. Но прежде всего — не захотели воевать, захотели домой — к женам и деткам. Жить захотели! Пусть погибают другие, а они будут жить.

За озером местность неожиданно изменилась — хвойный лес кончился, начались болота. Правда, теперь в сухую пору лета и тут было сухо — кочковатая болотистая пойма с редкими кустами крушины, березняка и ольшаника, чахлыми низкорослыми сосенками. Местами из-под сапог проступала черная вода, но толстая подушка мха держала человека. Вокруг была тьма клюквы — еще не созревшие, краснобокие ягоды густо обсыпали каждую кочку. В погожем, с редкими облачками небе кружила поодаль пара аистов, а над головами опять стали виться клубы мошкары, от которой здесь стало хуже, чем в лесу. Старшина какое-то время пытался отгонять их ветками, но скоро бросил — отогнать мошку было невозможно, она жаждала крови. Хорошо, однако, что никто им не встретился, пожалуй, тут не было ни людей, ни жилья, места выглядели необитаемыми и диковатыми. В высоком небе продолжали кружить аисты, да изредка, хлопая крыльями, пролетали утки. Вчерашнее напряжение в душе командира опало, хотя беспокойство еще оставалось, но он чувствовал себя свободнее. Теперь Гусаков шел первым, близко за ним — Костя, остальные тащились поодаль. Проголодавшиеся, они то и дело нагибались за клюквой, на ходу срывали ее горстями. Было жарко, низкорослые болотные деревца тени давали не много, гимнастерки промокли от пота. Гусаков расстегнул свою до последней пуговицы, отяжелевший вещмешок повесил на плечо, давая охолонуть спине. В каком-то месте среди болота, где кустарники показались гуще, он остановился. Рядом под кустом крушины их ждал приветливый тенёк.

— Привал!

Они все сошлись в короткой тени, посели рядком — спиной к деревцам. Костя по своей надобности на минуту отлучился за кустик, а когда вернулся, Огрызков спросил:

— Почему ты не в партизанах? Говорят же, у вас все, старые и малые воюют?

Костя, помедлив, ответил не по-детски серьезно:

— Так маму нельзя оставить.

— Не пускает, ага?

— Батька пошел, сказал, чтоб помогал маме.

— Ну придет батька — ты пойдешь. На смену батьке, ага?

Костя не ответил. Только опечаленным взглядом окинул болотные дали, будто надеясь увидеть там батьку. Туда же добродушно посмотрел Огрызков.

— Хорошо! — сказал он. — Еще бы и пожрать. Котелочек перловки. А, доктор?

— Может, тебе еще и котлет захотелось? — не слишком доброжелательно отозвался Тумаш. — Придем — накормят. У партизан перловка найдется.

— Это еще как сказать! Хотя, конечно, не с пустыми руками придем, правда, командир? — потянуло на разговор старшину. — Интересно, а какие у вас там награды? Медали, наверно?

По-видимому, чтобы придать должную важность разговору, Гусаков выдержал паузу и развязывал ляжки вещевого мешка. Большая картонная упаковка с наградами была в полной сохранности, разве слегка примялась с уголков, но с четко обозначенными печатями.

— К твоему сведению, не только медали. Семь штук Боевого Красного Знамени, орден Суворова, три ордена Ленина...

— А медали? — продолжал интересоваться старшина.

— Есть и медали. «Партизану Отечественной войны» первой степени — тридцать восемь знаков, второй степени — шестьдесят. Восемь — «За отвагу» и пять — «За боевые заслуги».

— А «За боевые заслуги» — кому? ППЖ, наверно? Или у партизан нет ППЖ? Они там вместе с законными женами воюют?

На это Гусаков не ответил — такой поворот разговора ему не понравился. Что и как у партизан, старшина сможет увидеть, когда придет на базу. А эти расспросы начинали смахивать на провокацию.

— Да-а, будет радости партизанам, — продолжал старшина. — А вы, командир, награждены?

— Награжден, не бойся, — грубовато ответил Гусаков.

— Наверно, не менее чем орденом Ленина?

— Нет, не Ленина. Что заслужил, тем и награжден, товарищ старшина.

Огрызков безмятежно откинулся на мягкий мох кочки.

— А я, знаете, еще нет. Не удостоился. Разве что у партизан получу.

— Получишь. У партизан все получишь, — пробормотал Тумаш. — Может, и Героя получишь.

— Есть такое намерение, — серьезно сказал Огрызков. — Что ж, воевать, да не заслужить награды? Сам же, наверно, нахapaл в танковых войсках?

— Где нам! Мы же — медицина, чтоб спасти вас. Вон под Мерефой одного такого героя, комбата правда, тащил под огнем к дороге, а он на дороге умер. Ну, думал, за героя хотя бы медалек дадут — где там! За что же медаль, ежели помер, правда?

— Это смотря как сформулировать, — неохотно вступил в разговор и Гусаков.

— Что сформулировать? — не понял фельдшер.

— Представление. За один и тот же подвиг можно медаль «За отвагу», а можно и «Красную звезду». Смотри как оформлено.

— Слушай, доктор, учись, — наставительно заметил Огрызков. — Командир знает. Он — спец по формулировкам.

Гусаков прекратил разговор, чтобы не обсуждать с посторонними свои служебные тонкости. Что они понимали, эти армейцы или партизаны, в его штабной специфике, которую и он постиг не сразу. Понадобилось время, труд и терпение, не обошлось без ошибок и промахов, — впрочем, как и во всяком ответственном деле.

В наградном отделе Гусаков служил без малого год — дооформлял присланные из партизанского тыла представления, проверял правильность формулировок и записей, вел картотеку и строгий учет документов на награжденных. Разумеется, все — «секретно» и «совершенно секретно», как и надлежало в его штабной службе. Лишь непосвященному могло показаться,

что дело это простое и для грамотного человека не составляет труда. Перепечатавай на хорошей бумаге присланные из частей и соединений рапорты, подкладывай в папку генерала — на подпись и утверждение. И дело с концом. Иногда забывают, что есть еще секретариат Президиума Верховного Совета СССР, есть госпартконтроль, партком, ну и особый отдел, как и полагается, и все контролируют и проверяют с правом аннулировать или возвратить на исправление ошибки. Если, конечно, ошибка незначительная или формальная. В одном документе, например, написали Тихменев, а в другом Тихменёв. Как будто небольшая неточность, а ему, начальнику отдела, вlepили за нее выговор. Как раз накануне дня Красной армии, когда все в штабе получили поздравления и благодарности, он в другом приказе — выговор. Вот вам и мелкая грамматическая ошибка.

Хуже всего, однако, что его служба как-то выпала из военных уставов и почти никак не регламентирована, что дает ему немало возможностей для инициативы, но и вынуждает рисковать. От его мастерства и добросовестности зависит многое, в том числе и решение главного вопроса: наградить или нет. Его предшественник Усачев имел несчастливую руку — что ни оформит, все неудачно, возвращают назад, да еще с резолюцией, за которой, разумеется, следует взыскание. Оно и понятно. Если написать, например, что командир отряда хорошо руководил боем, успешно захватил какой-нибудь населенный пункт, в котором уничтожено 12 полицеев и несколько взято в плен — кто такому герою даст орден Боевого Красного знамени? Надо поправить — пусть незначительно, но весьма существенно. Прежде всего указать соцпроисхождение командира — то, что он из рабочей семьи, член ВКП/б/. Если беспартийный, этого лучше не указывать вовсе, партийность опустить. Вместо «12 убитых полицеев» желательнее написать: «21 гитлеровец». Разница небольшая, но смотрится иначе. Ну и обязательно в конце добавить (с красной строки), что такой-то делу партии Ленина — Сталина предан. Это очень много значит в глазах секретариата ВС, госпартконтроля, особого отдела тоже.

В начале своей службы в отделе, когда Гусаков еще не набрался должного опыта, было несколько случаев, когда награду снижали, и это вызывало законное недовольство партизан. Но случилось и так, что орден повысили сразу на три ступени, — это когда вместо Отечественной войны партизану-пулеметчику дали орден Ленина. Тогда он, Гусаков, даже испугался, потому что причиной того стал недосмотр машинистки, которая вместо 28 убитых из пулемета фашистов напечатала 82. В отделе был большой, хотя и недолгий, переполох — жалобы с мест не поступило, потому что и командира того счастливого снайпера также неплохо наградили.

Опять же надо учитывать, кого награждают. Если рядовых партизан, ну там подрывников, разведчиков или подпольщиков, можно не слишком стараться — этим что дадут, то и хорошо. А если комбрига или комиссара?.. Не дай бог комиссару бригады оформить орден поменьше, чем командиру. А то пришлют голый текст вроде того, что мол — проводил огромную политмассовую работу по сплочению масс на выполнение задач товарища Сталина, поставленных в приказе номер... А где конкретика? Начальство требует конкретику. И тогда начальник отдела капитан Гусаков садится за

стол и пишет: секретарь подпольного бюро (райкома, обкома, окружка — нужное подчеркнуть) в критический момент боя личным примером поднял людей в контратаку и при поддержке коммунистов и комсомольцев огнем из станкового (ручного) пулемета уничтожил энное количество эсэсовцев, остальных обратив в бегство. Это нравилось и почти всегда гарантировало награждение высоким орденом. Обычно герой и не подозревал, кому обязан, считал — непосредственному начальнику, который прислал на него малограмотную цидульку. Но Гусаков не претендовал на благодарность и не имел ни к кому претензий, — он исполнял свой воинский и партийный долг.

Иногда, правда, становилось немного обидно. Стольким героям он обеспечил высокие правительственные награды, а сам как получил в прошлом году орден Красной звезды, так с тем и ходил, будто какой-нибудь командир взвода, а не работник Центрального штаба. Может, именно по этой причине и попросился в это десантирование, хотя и понимал, сколько оно таит опасности. И его просьбу учли. Генерал Кругляк из отдела кадров авторитетно заявил: «Езжай! Вернешься — наградим». Что ж, спасибо товарищ генерал, надо только выполнить задание и вернуться.

Для него в этой командировке была и еще одна надобность — внутренняя необходимость реабилитироваться, что ли? Вполне вероятно, что в одном конкретном случае, оформляя материалы на высокий орден, он перестарался. В общем, все обошлось гладко, офицер получил награду, его поздравляли, а указ даже напечатали в газетах. Но потом... Потом того офицера арестовал особый отдел, а Верховный Совет аннулировал награждение. Началось расследование, Гусакова вызывали, допрашивали. Правда, наложили пустяковое взыскание, но он понимал, что попал под подозрение, и это было хуже всего. Конечно, сам виноват, не надо было спешить. Хотя кто знал, что все так обернется? Все знают только органы...

Костя также обрадовался, увидев знакомое озеро. В прошлом году они здесь останавливались по дороге на станцию, поили лошадь. Правда, что находится по ту сторону озера, парень не знал, но направление на Боговизну отсюда представлял точно. Только вот расстояние до нее определить, конечно, не мог.

По болоту он шел рядом с командиром, между кочек по мху это было не трудно. Санитарная сумка немного давила плечо, но уж как-нибудь он ее донесет. Тем более передохнув в тени под кустом. Еще бы чего-нибудь съесть. Но еды тут не было, только клюква. Да разве клюквой наешься?

Стало хуже, когда захотелось пить.

Может показаться странным, но утолить на болоте жажду не было возможности, хотя вода повсюду. Речка им больше не попадалась, а вода из-под мха казалась больно противной — коричневая, с насекомыми и болотным мусором. Такой не попьешь. Превозмогая жажду, Костя таил надежду, что Боговизна близко и там он напьется.

Отдохнув на мягкой и мшистой кочке, они снова пошли по набрякшему водой мху, местами проваливаясь, но пока еще удачно выбираясь на более сухое. Вскоре, однако, вынуждены были остановиться — командир глубоко провалился одной, а затем и обеими ногами. Костя попытался ему помочь, но и сам провалился тоже — почти по пояс. Кое-как выбравшись из грязного

провала, осмотрелись, стараясь понять, что впереди. Болото впереди казалось и вовсе непроходимым — трясина с осокой, аиром, частыми окнами черной воды...

Но что было делать? Идти вперед или, может, возвращаться назад? Или пытаться как-нибудь перебраться через трясину в надежде, что дальше будет посуше. Возвращаться, конечно, никому не хотелось, и командир звучно выругался.

— Надо выломать палки. Давайте с палками!

В ближайших кустах они выломали себе каждый по палке, которыми, всякий раз, прежде чем ступить в черную жижу, нащупывали дно. Сапог не снимали — сапоги давно уже были полны воды. Скоро по пояс намокла и одежда. Косте с его босыми ногами было легче, нежели остальным — он часто проваливался, но и быстро выбирался из трясины. Не то что Тумаш, который, однажды глубоко загрузнув, долго барахтался в черной луже, кидаясь из стороны в сторону. Он потерял там сапог, потом долго искал его в развороченной трясине, весь измазавшись в черной грязи.

Далее Костя опять шел впереди, отыскивая сколько-нибудь подходящий путь, за ним на некотором расстоянии брели остальные. Каждый новый шаг давался парню все с большим трудом. Прежде чем ступить в жидкую торфяную массу, он ощупывал палкой дно, стараясь найти место, где потверже. Но твердого, похоже, здесь уже не было, приходилось ступать наугад, каждый раз рискуя провалиться и не выбраться. Командир сзади заметно отставал, терял его следы и ругался. Чувствуя себя виноватым, Костя помочь командиру не мог. Он лишь пробирался вперед, чтобы скорее вырваться из зловещих объятий болота. Остальные, то и дело зло матерясь, следовали за парнем.

Но вот вдали и немного в стороне за болотом показался узкий клинок молодого сосняка. Не сговариваясь, они повернули к нему в тайной надежде, что там кончалось болото...

Оторвавшись от остальных, Костя ушел далеко вперед, на глаз прикидывал, куда ступить и широко шагал по трясине. Иногда удачно, но большей частью проваливаясь — до колен, по пояс, а то и по грудь. К вечеру он был уже весь мокрый, измазанный в черной торфяной жиже. Его санитарная сумка, как ни берег ее от воды, в конце концов тоже намокла. Пробираясь по такому губельному болоту Косте приходилось впервые, никогда прежде в том не было надобности. Летом за ягодами в Боговизну приходили бабы, но собирали их там, где было посуше, в трясину не лез никто. Трясины боялись, о ней рассказывали страшное; места, подобные этому, считались проклятыми. Их сторонились даже зимой. Разве что во время зимних лесозаготовок прокладывали санный путь, когда возили на станцию лес для шахт Донбасса.

Пошли широкие водяные полосы, местами густо покрытые ряской. Перебираясь через одну из них, Костя не рассчитал и провалился в глубину почти с головой. Вынырнув, испугался — так недолго и утонуть. Кое-как выбравшись, взобрался на кочку, вылил из сумки воду, постоял, выжидая, пока стечет с одежды вода. Все-таки Робинзону после кораблекрушения, наверное, было легче, подумалось Косте, он плыл в чистой морской воде.

Костя любил читать о море, хотя никогда не видел его. Болото он ненавидел, ягод не собирал. Да он и не любил их. Чаще всего другого ему хотелось хлеба. Но хлеба как раз и не хватало. Особенно весной и летом. Хорошо, когда была картошка...

Плохо, что, уходя с партизанами, он не имел возможности сказать о том матери. Да и баба Августа наверняка рассердилась, обнаружив, что его нет на поле. Вот было крику! Наверно, с полдня за него погнался коров братик Витька. Конечно, он еще мал бегать за коровами, но кому-то же надо бегать за ними. Мама с утра пошла косить сено, чтобы было чем кормить коровку зимой. Костя любил брата, может, больше, чем маму, всегда брал его на озеро удить уклейку, катал на повозке, когда свозил сено. А зимой рассказывал прочитанные книжки. Витька внимательно, почти зачарованно слушал, потом самое интересное пытался рассказать матери. Мама, однако, слушала плохо — она больше плакала.

Скорее бы возвращался отец, стало бы легче, а главное — веселее дома. И Косте, и Витьке, наверно, повеселела бы и мама. А то все сердится и плачет, плачет и сердится. Проклятая эта война. Она отняла у них отца и школу. Учителя разъехались кто куда — по деревням или в город. А учитель математики Петр Максимович, говорили, стал полицаем в районе. Тихий был, хороший учитель. Почему так?

Далее они передвигались уже испытанным прежде способом. Костя, который, наверно, успешнее других освоился с трясиной, далековато уходил от остальных, пролагая в болоте мутный, разворошенный в ряске след. Потом, остановившись поодаль, дожидался командира, тот, не успевая за ним, медленно пробирался сзади. Поравнявшись, оба недолго отдыхали, погрузившись по пояс в воду. Передохнув, Костя снова лез в трясину и брел дальше, высматривая впереди куст или кочку. Но вот не стало ни кустов, ни кочек, не к чему стало приткнуться. Парень, не сообразив, сунулся в голый без ряски водяной прогал — и едва не с головой ушел в зеленую воду. Далее он почти плыл. Только возле зарослей желтых кувшинок нащупал ногами землю и прибрел к кусту лозняка. Прежде чем выбраться из воды, повесил на куст мокрую, облепленную водорослями сумку, из которой лились грязные струи воды. Костя готов был расплакаться от стольких неудач на его пути. Думал, что командир станет его ругать, как только выберется из трясины, и, чтобы избежать неприятной с ним встречи, снова подался в болото.

Так они и пробирались — словно перебежками по полю боя, как издали пошутил старшина Огрызков. Молодцы партизаны, сказал он еще, зашились в болото так, что никакой Пинкертон не сыщет. Наверно, так думал и Костя, который когда-то читал про знаменитого сыщика, однако теперь не почувствовал радости от партизанского умельства.

Между тем хвойный бережок, куда они держали направление, помалу приближался. Хотя еще долго пришлось им барахтаться в торфяной жиже, проваливаться и выбираться на кочки, пока ноги нащупали наконец твердую землю.

И не заметили, как за болотом ушло в тучу низкое солнце. Наступал вечер.

Наконец достигли соснового пригорка. Костя вылез из болота на узенькую полоску берега и обессиленно упал на сухой серый песок. За ним выбрался и также свалился командир. Выбрались остальные двое. Все обессиленно, угрюмо молчали...

Первым на берегу поднялся с травы командир, — сел, стал разуваться, выливать из сапог болотную воду. Потом выкручивал портянки, отжимал брюки, низ гимнастерки. Его вещмешок с ценной ношей также оказался изрядно подмоченным, как и полевая сумка. Но долго сушиться было некогда — солнце зашло, вдали над болотом поднимался легкий прозрачный туман. Оглянувшись на сосняк сзади, Гусаков вдруг удивленно воскликнул:

— А это что такое?

Все повернули головы в сторону, где неподалеку оканчивался этот пригорок с полоской молодого сосняка и высился деревянный геодезический знак, похожий на тот, что они уже встречали на здешних полях. Увидев его, командир схватился за карту, дрожащими руками развернул на траве ее подмоченный лист.

— Так, так, так! Да это же тригопункт семьдесят пять ноль. Точно! Старшина, а ну-ка взгляни, что на той стороне.

Огрызков, как всегда, нехотя поднялся, взял автомат и полез в густые заросли сосняка. Сидя несколько в стороне от остальных, фельдшер озабоченно копался в своем вещмешке, сетуя, что все намокло, пропали лекарства. К тому, что обрадовало командира, фельдшер казался равнодушным.

Кое-как намотав портянки. Гусаков торопливо натягивал мокрые кирзачи. Как раз в этот момент из сосняка вылез Огрызков.

— Ну что?

— Опять болото.

— А за болотом что?

— За болотом лесок какой-то.

— Лесок? Это же Остров Борок! Мы пришли наконец! — обрадованно объявил Гусаков.

Подхватив карту и оставив на траве вещмешок, командир бросился в сосняк. На какое-то время они исчезли там оба. Костя и Тумаш остались на берегу. Тем временем быстро темнело, надвигалась ночь — вроде последняя на их суматошном пути.

Гусаков не ошибся. На самом мыску хвойной косы, откуда-то протянувшейся в болото, торчали три склоненных бревна, скрепленных сверху, — это был тригопункт. На карте он обозначен цифрой 75,0. Опять же на карте за болотом с четкой подписью «Урочище Боговизна» значился хвойный лесок, подписанный мелким курсивом «Остров Борок», — как раз то, что и требовалось. Куда они направлялись, прыгали с парашютами, изнемогали на жаре, пробирались в гиблой трясине. До желанной цели оставалось не больше километра пути. Но также через болото.

То, что снова придется забираться в болото, командира на этот раз не пугало. Гусаков уже знал, что одолеть можно все, была бы цель. Ныне цель предстала перед ним близко — казалось, можно дотянуться рукой.

— Так что — пойдём? — устало произнес старшина, который также вымотался в болоте. Его офицерское обмундирование приобрело жалкий вид. Равно, как и одежда всех остальных.

Однако Гусаков почему-то медлил, словно изменил свое намерение. Стало заметно, что его трясёт — от стужи или нервного напряжения, которое вдруг охватило командира. Теперь, когда Остров Борок он видит так близко и в любую минуту может отправиться туда, вдруг возникла забота: что делать с парнем? Все время, пока они шли сюда, пробирались через болото, он как-то об этом не думал. Костя вел, помогал, был им нужен. Но теперь... Командир четко понимал, что на базу его вести нельзя. Но нельзя и отправить домой. Так что же с ним делать?

— Идем, что ли? — нетерпеливо повернулся к сосняку старшина.

— Постой! Ты парня привел?

— Ну я. А что?

Старшина остановился, уже почуяв что-то скверное в намерениях Гусакова, но еще не представляя себе, что.

— Не понимаешь?

— Не понимаю.

Он ждал ответа, но командир медлил, видно, ему не хотелось объяснять подробности.

— Парня нельзя вести на секретную базу.

Старшина молчал. Видно, эта мысль командира оказалась для него неожиданной, и он в замешательстве опустил наземь.

— Да-а?

— Вот тебе и да-а!

Гусаков почувствовал, что Лешка все понял, не маленький. Тем более если он диверсант-разведчик, ничего больше ему разъяснять и не надо.

— Отведешь в сторонку и пристрелишь, — тихо сказал Гусаков и затаил дыхание. Старшина ответил не сразу.

— Почему я?

— А кто же? Ты привел?

— Я не буду! — подумав, решительно отказался старшина и поднялся на ноги.

— Категорически?

— Категорически.

Озабоченно потоптавшись на месте, Гусаков рассеянно взгляделся в болото, которое все больше уходило во мрак. Еще немного времени — и высокие деревья за болотом застелет сизый туман. «Надо запомнить направление, — подумал он, чтобы не сбиться в ночи. Не хватило самую малость светлого времени».

— Поди позови фельдшера, — приказал командир.

Старшина поднялся и молча полез в сосняк.

Оставшись один, Гусаков молча ругал себя за оплошность — вовремя не сообразил, чем это может обернуться. До сих пор все шло хорошо, они без потерь и стычек добрались до цели — и на тебе — новая болезненная проблема. Впрочем, почему проблема? На оккупированной территории немцы

убивают их ежедневно — и мальчиков, и девчонок. Жалко, конечно, но безопасность партизанского соединения важнее.

Отпустишь, а если его перехватят немцы? Гестапо, наверно, умеет выбивать секреты. И не только у подростков-мальчишек. А этот старшина: «не буду». Ему жаль. Как будто мне самому не жалко. Или генералам, командующим на фронтах, не жаль таких вот или чуть постарше парнишек, что тысячами бросают в бой, и те остаются удобрять землю? Наверное, жалко. Но будешь всех жалеть — не дождешься победы. Сам ляжешь в землю.

Наверно, именно то, что сам ляжешь, — важнее всего. Для каждого. И для него тоже. Потому что и он в западне. Парня ни отпустить, ни взять с собой невозможно. Сразу прицепится особый отдел — почему, откуда, кто разрешил? А то и — с какой целью, по чьему заданию? Нет, лучше всего, если парню — хана. И для него лучше тоже.

Из сосняка вылез Тумаш, настороженно остановился поодаль.

— Тумаш, ты большевик?

— Беспартийный.

— Дети есть?

— Нет, не женат, не успел. А что?

Помедлив с ответом, командир сказал:

— Возьмешь парня, отведешь в кусты и пристрелишь. Тумаш молча стоял, словно глухой.

— Ну что молчишь? Исполни!

— Думаю, что вы сдурели.

— Сдуреешь! — нервно вскричал Гусаков. — С вами сдуреешь! Вы что — не понимаете, что я не имею права вести его на базу? Там штаб соединения, что они скажут? Они же нас к стенке поставят, понимаешь? Или ты не знаешь, что такое органы?

— И тут органы! — проворчал Тумаш. — Ну что ж... Мое дело маленькое, прикажете — выполню. Но я не отвечаю. Вы...

Бормоча что-то, он полез в сосняк, и Гусаков остался один. Его трясло — от мокрой одежды, вечерней прохлады, нервного возбуждения — от всего вместе. Недолго постояв так, он также пролез сквозь сосняк на то место, где они выбрались из болота. Тумаша с парнем там уже не было. Опершись локтями о колени, на берегу сидел старшина, похоже, он также дрожал от знобящей к вечеру болотной стужи.

— Пошел?

— Повел, — чужим голосом произнес старшина. Рядом лежал вещмешок командира, а также санитарная сумка и вещмешок Тумаша. Винтовки его не было. Командир надел на плечи свой вещмешок, спрятал в сумку карту.

Они стали ждать — ждать выстрела. Но выстрела почему-то не было. Вдоль берега, тревожно хлопая крыльями, пролетела утка, за ней другая. Уж не повел ли он парня далеко, думал Гусаков. Все-таки фельдшер фронтовик опытный и не должен упустить подростка, если бы тот захотел бежать. Да и не должен бежать. Если с ним вежливо, обходительно, чтобы излишне не волновать. Хотя подозрительно, что фельдшер так легко согласился. Все же, наверно, чтобы застрелить человека, надо обладать особой решимостью, которой у Гусакова не было. Он на войне не убил еще ни одного немца — не

было случая. В этом смысле перед Богом его совесть чиста. Хоть это утешало его.

Выстрела они ждали напряженно и долго, не в состоянии сдержать нервную дрожь. И выстрел наконец грохнул — не так и далеко, в сосняке. Глуховатое в тумане эхо перекатилось через болото и заглохло. Возможно, достигло и заветного их Борка. Уже можно перейти на ту сторону сосняка и забираться в болото, чтобы проделать остаток пути. Но сперва следовало дожидаться Тумаша.

Тумаш, однако, не шел. Может, заблудился, повернул не в ту сторону? А может, намеренно куда подался?

Уже и вовсе стемнело. Из дымного тумана над болотом покатым горбом выступал хвойный мысок. Тригопункта отсюда не стало видно. Пугающее нетерпение все больше донимало обоих...

Продираясь сквозь хвойную чащу к берегу, Тумаш не переставал удивляться, как у этих партизан все скоро и просто.

Вообще он уже повидал в своей жизни всякого — больше плохого и страшного, на войне тоже. Видел, как пьяные танкисты давили на дороге двух связанных эсэсовцев, наезжая на них гусеницами «тридцатьчетверки». Делали это прилюдно, напоказ пехотинцам-десантникам, немало которых собралось вокруг посмотреть интересное зрелище. Пьяный лейтенант, сидя на крыле танка, пристально вглядывался в лица очумевших от боли эсэсовцев, оживленно рассказывая, как у тех вылезают глаза из орбит. Зрители возбужденно требовали давить и остальных! Остальные — человек восемь пленных с оборванными погонами дожидались своей очереди. Но это были эсэсовцы, наверно, убежденные гитлеровцы, упорно воевавшие и даже перед смертью то и дело вскидывавшие вверх руку — хайль Гитлер! В другой раз наши самоходчики казнили власовца. Посадили верхом на толстый, как бревно, ствол своей 152-миллиметровой пушки, связали стопы ног и выстрелили. Только горелое ошмотье полетело в воздух да кровавыми брызгами залепило лица собравшихся. Хорошо, что фельдшер стоял в стороне. Теперь в сторону не отойдешь.

Но ведь это — мальчишка! Не враг и даже не проштрафившийся партизан, может, действительно сын партизана. Поманили, попользовались, словно какой-нибудь тряпкой. И все из соображений безопасности, секретности, чтобы не причинить вреда. Но — кому? Тем, что за непроходимым болотом защищают страну? А заодно — социализм и коммунизм. Чтобы им вольготнее было защищать, он, беспартийный фельдшер, должен застрелить подростка. Они, конечно, стрелять его не будут, они того себе не позволяют.

А его руками можно. Конечно, чужими руками все можно — и убить, и помиловать.

Вот же дьявольская западня! И что поделаешь? Не выполнишь приказ — сам можешь получить пулю в лоб. Но как выполнить?

Нисколько, наверно, не предчувствуя грозящей ему опасности, Костя в мокрой одежке спокойно сидел себе на сухом бережку и также мелко дрожал от стужи. Увидев вылезшего из сосняка фельдшера, парень вопросительно уставился на него — когда, мол, пойдём? Остров Борок совсем

рядом, он привел сюда этих людей, не заблудился в болотах и был оттого почти счастлив. Может, даже ожидал благодарности или награды из числа тех медалей, которых целый мешок нес командир. Разве не заслужил?

Тумаш, однако, был далек от размышлений Кости, чувствовал себя сраженным новой заботой, и не знал, как вымолвить слово, за которым начиналось страшное. Он лишь заставил себя тихо пробормотать: «Ну, пошли...»

Парень послушно поднялся и, поеживаясь, ждал, явно не понимая, куда идти. Свое он уже отводил, и думал, что теперь должны повести его.

— А куда?

— Туда, в соснячок, — жалко шевеля обожженными губами, сказал Тумаш, — Тут близко...

Было заметно в сумраке, как Костя зябко передернул плечами, но пошел, — сначала берегом, потом влез в хвойную чащу, так как берег тут кончился. Тумаш полез следом. Уже в совершенной темноте, пробираясь сквозь колючий сосняк, парень несколько раз останавливался, видно ожидая, что фельдшер ему что-то скажет — объяснит, куда идти дальше. Но фельдшер молчал, фельдшер все думал: где? Где ему выстрелить? В чаще было темно и неудобно, он мог промахнуться. А потом появилась робкая надежда, — может, парень убежит? Убежать в общем было нетрудно, Тумаш бы его и не пытался догнать. Что он собака? Или какой полицай? Он фельдшер, медик, его обязанность — лечить, а не убивать людей. Да вот приходится...

Но парень не убежал, спокойно пробирался среди колючих ветвей навстречу собственной гибели. И Тумашу стало обидно. Надо же родиться таким дурнем! Или еще не понимает?

А разве все понимал Тумаш?

— Куда... Куда мы идем? — впервые с тайной тревогой спросил Костя. Они далековато отошли от берега, уже следовало спешить сделать то, что он должен был сделать, что было приказано. Но Тумаш все не мог набраться решимости, только бормотал про себя что-то невразумительное и беспомощное. И Костя, наверно, почувствовал недоброе.

— Куда вы меня ведете? — громко, с надрывом спросил парень и остановился.

«Ах, чтоб тебе пропасть, — мысленно выругался Тумаш. — Ну что ты с ним сделаешь?»

— Слушай, — нетвердо сказал он. — Ты — беги!

— Куда?

— Беги ты, холера на тебя! Не понимаешь, что ли?

— Бежать?.. Дядька, вы не партизаны?! Вы не партизаны! — вдруг, захлебнувшись плачем, закричал парень, словно поняв что-то.

— Убегай! — крикнул Тумаш. — Беги, ну!!

Пожалуй, Костя все-таки понял, что от него требовалось, и подался в глубь хвойной чащи. Вздохнув с облегчением, Тумаш поднял свою СВТ и выстрелил вверх. Выстрел прозвучал неожиданно звучно, похоже, даже оглушил фельдшера. Тот недолго выждал, пока заглохнет над болотом далекое эхо, вслушался в наступившую затем тишину. Парня поблизости уже

не было слышно, но вдруг в той стороне, где он исчез, послышались крики. Вроде окликали кого-то... Или ему показалось?

Но — не показалось. Тотчас в той стороне, куда ушел Костя, звучно протрещала очередь, другая, вроде две очереди вместе, — гулкое эхо разнеслось по болотным окрестностям. Тумаш от неожиданности присел, потом вскочил и бросился к чаще, к берегу. На его пути густо защелкали пули, ссекая вокруг хвойные ветки. «Ай-яй, вот же влип! Вот же влип!» — стучала в голове пугливая мысль. На бегу фельдшер все ждал: срежет! Вот эта пуля срежет, вот эта... В колючей темноте, однако, было не разбежаться. То и дело он натыкался на сучья и деревья, падал и вскакивал, бежал путано, словно заяц, обдирая лицо и руки.

Когда выскочил из сосняка на узкий осоковатый берег, очереди хлестали поодаль, наверно, теперь по двум его спутникам, — рикошетом разлетались в стороны и взвизгивали над болотом. Тумаш остановился, лег. Куда было дальше бежать? Кто и откуда стрелял, было ему безразлично — те или другие пытались его убить, и он вынужден был спасаться. Только где тут спасение? Помедлив, он вбежал в болото, сразу погрузившись в него по бедра. Хорошо, что его ноша — вещмешок и сумка — остались на берегу, без них было легче. И он побрел по неглубокой пока воде — все дальше от берега. Винтовку не бросил — винтовка могла ему пригодиться.

Когда на берегу прекратилась стрельба, он остановился, погрузившись по грудь в заросшее камышом болото. Сидя в теплой воде, размышлял, куда наконец податься? Наверное, до утра здесь не просидишь, надо будет вылезать, идти к людям. К каким только людям?

Услышав голоса, старшина на берегу вздрогнул и насторожился. Показалось, — в той стороне, куда пошел Тумаш, раздались два или три окрика, и длинная автоматная очередь разорвала ночную тишину. Совсем близко над головой взвизгнули пули.

— Что это? — вырвалось у Гусакова.

— Ерунда это, командир! — в отчаянии воскликнул старшина. Его голос сразу же заглушило несколько очередей вблизи — уже в сосняке рядом. Били в сторону тригопункта, пули летели через их головы по берегу, разлетались над туманным болотом. Старшина схватился за автомат, но командир рядом панически крикнул:

— Не стреляй!

Они лежали на самом берегу, прижимаясь к влажному от росы песку. Бежать в болото уже не решались. Недолгое время спустя снова ударило несколько очередей из двух направлений — от сосняка и от тригопункта. Перекрестные трассы огненными шмелями низко пролетели над болотом и потухли в тумане. Командир с пистолетом в руке привстал на коленях, видно, хотел что-то крикнуть, но лишь ойкнул и обвалился наземь. Старшина как можно плотнее вжался в песок и лежал так с автоматом в руке. Он не стрелял. Он уже понимал, что это — свои и что сейчас они расстреляют их, как, наверно, уже расстреляли Тумаша. Похоже, эти ребята свое дело знают.

Гусаков опять приподнялся на одно колено, по-видимому намереваясь что-то крикнуть, но крикнуть уже не смог. Под новой очередью в упор ткнулся головой в песок и затих.

— Эй, вашу мать! — теряя самообладание, во все горло заорал Огрызков. — Что делаете, бляди! — и лежа выпустил из автомата длинную очередь — в небо.

К его удивлению, очереди из сосняка прекратились все разом, слышались недалекие, приглушенные голоса. Из притихшей чащи возникла темная тень, пригнувшись, застыла в нерешительности. За нею появилась вторая.

— Здесь они! Вон лежат...

— Уложили-таки.

— Ишь адкуль подбирались! Думали, ня убачым...

Гусаков не шевелился. Вокруг на траве белела густая россыпь партизанских медалей из растерзанного очередью вещмешка. Старшина медленно поднялся и сел на песке, сжимая рукой плечо. Сквозь пальцы по рукаву плыла горячая кровь, и было невыносимо тоскливо... Черт знает, что они натворили!..